



Максим Осипов
Свентта
Повести, рассказы, очерки

CoRpus

18+

Русский Corpus

Максим Осипов
Свента (сборник)

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Осипов М.

Свента (сборник) / М. Осипов — «Издательство АСТ»,
2023 — (Русский Corpus)

ISBN 978-5-17-157735-3

Максим Осипов – врач-кардиолог, издатель, прозаик, лауреат нескольких литературных премий, присуждаемых за малую прозу. Его сочинения переведены более чем на двадцать иностранных языков. “Свента” – самый полный из когда-либо публиковавшихся в России сборников повестей, рассказов и очерков Осипова. В его прозе соседствуют медицина, политика, театр, музыка, религиозная жизнь, жизнь в провинции и в эмиграции, благотворительность, даже шахматы. Собранные все вместе, эти произведения рисуют живую картину перемен, которые произошли за полтора десятилетия с российским обществом. Несмотря на присущий прозе Осипова лиризм и юмор, его произведения полны предчувствий тех трагических поворотов истории, которые заставили и самого автора покинуть страну.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-157735-3

© Осипов М., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Свента	6
Москва – Петрозаводск	12
Маленький лорд Фаунтлерой	21
Цыганка	28
Камень, ножницы, бумага	40
Человек эпохи Возрождения	62
Кирпич	62
Лора	68
Мальчики	75
Черный понедельник	82
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Максим Осипов

Свента

В оформлении обложки использованы картина Семена Агроскина “Флешбэк” (2021)



© Максим Осипов, 2023
© Marcel Bakker, фото автора на обложке, 2022
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство АСТ”, 2023 Издательство CORPUS ®

Свента Путевой очерк

Памяти родителей

Внуково – самый маленький, самый камерный аэропорт из московских, и когда прилетаешь в него, да еще в субботу в одиннадцать вечера, столпотворения не ждешь. Отметки в паспорте, чемодан, всё быстро:

- Откуда?
- Из Вильнюса.
- Что везем?

Ничего особенного: книжки, сыр. Нормы ввоза продуктов тобой не нарушены – проходи. Но именно тут, на выходе, тебя ожидает сюрприз: мужчины, плотной толпой. Столько народу может встречать, например, самолет из Тбилиси, но нет, не похожи они на грузин. Нету и приставаний – “Такси, такси в город, недорого”, как-то странно тихо, несмотря на толпу. Протискиваешься через нее, а она не редет, люди не расступаются, но и не мешают нарочно – стоят. Крепкие мужики средних лет, безбородые, в темных пальто и куртках, они как будто не видят тебя. Не огрызнутся, не сделают замечания, если колесами чемодана проехать им по ногам. Кажется, можно щипать их, колоть – не сдвинутся. Непонятная, темная сила из сна: кто они, куда собрались – в паломничество, на хадж? Сейчас выясним: где тут охрана, полиция?

Пробравшись к стеклянной двери, обнаруживаешь, что она заперта – там, на улице, тоже толпа, но другая, более пестрая, разнополая. Караулит дверь полицейский, в руке у него какой-то сосуд – как же поздно ты все понимаешь! – да ведь это лампада: вечер Великой субботы, люди замерли в ожидании, скоро благодатный огонь прилетит.

– Спецрейсом, из Тель-Авива. Ждем борт.

“Рак зэ хасэр лану” – только этого нам не хватало – весь известный тебе иврит.

Через час или два приземлится борт, начальство под телекамеры раздаст мужичкам огонь, и они лампадами повезут его по Москве, Подмоскovie и в соседние области. Тогда уж и всех остальных пустят внутрь. Легко найти репортаж: люди едут во Внуково отовсюду – “Приезжаем шестой уже год”, “Верим в народ, в страну”.

Ничего, ничего, без паники. Полицейский делает знак:

– Третья дверь на выход работает.

Надо снова проталкиваться, волоча чемодан за собой. Так завершается поездка в Литву.

– Какие эмоции вызывает у вас это место? – спрашивает по-английски девушка-корреспондент зарасайской газеты. Она единственная из пришедших на встречу с тобой и Томасом, переводчиком и издателем, не понимает по-русски.

– Для меня Зарасай – не место даже, а время. – Чтоб не искать слова: – *Paradise lost*, потерянный рай.

Девушка настораживается: товарищ скучает по СССР? – О, нет! Лишь по тем временам, когда были живы родители.

– Вы, что же, впервые в свободной Литве?

В свободной – впервые. Хорошо не чувствовать себя оккупантом. Пробежался по Вильнюсу, все понравилось, но тянуло сюда. Смотришь по сторонам: новая библиотека у озера (весь город на берегу), кафе начала семидесятых, с колоннами, неработающее (там давали комплексные обеды), костел. Памятника вооруженной девушке (Мельникайте) словно и не было. И прихода, как обычно в таких городках, привлекательней построенного людьми.

– Почему было не приехать раньше?

Ответить нечего, только плечами пожать. Отец отсюда писал, почти сорок уже лет назад: “Здесь тихо и бесконфликтно. И в доме, и в городе, где сейчас мало людей, и, наверное, потому со мной вежливы даже на почте. И сам порой себя чувствуешь не занюханым москвичом с перегруженной совестью, и мир видишь иначе – ощущаешь его пронзительность”.

А вот и собственная твоя дневниковая запись пятнадцатилетней давности: “Хочу в Зарасай, где провел столько времени – каждое лето, подряд столько лет. И все-таки еду туда и сюда, куда положено ездить, куда стыдно не съездить, только не в Зарасай. Это и означает – жить не своей жизнью”.

Тут ветрено, чисто – почвы песчаные, да и местные жители склонны поддерживать чистоту. Пустынно.

– Просторно, – улыбается девушка-корреспондент.

Да. Вы прощаетесь:

– Приезжайте летом, с компанией.

Неплохо бы. Но из тех, с кем вы ездили в Зарасай, один – в Сан-Франциско, другой – в Амстердаме, с кем-то пришлось рассориться, а несколько человек, включая родителей и сестру, умерли. И ты отправляешься на полуостров, он находится в двух километрах, с южной стороны озера, дорогу ты помнишь – ни навигатор, ни провожатые не нужны.

“Здесь дом стоял...” – двухэтажный, каменный. И следа не осталось, снесли. После смерти хозяев (о которой ты знал) дети делили наследство, дом продали, а покупателям он не пришелся по вкусу, и его уничтожили со всеми пристройками, сровняли с землей. Хотели сделать что-то свое, но, видно, деньги закончились. Так расскажут соседи, они даже помнят немного вашу семью.

Странно, дом-то был крепкий. С огромным балконом, на него выносили обеденный стол. “Так вот с кем мы дело имеем...” – сказала мама без выражения, – гость ваш, сосед, похожий на Сергея Рахманинова, тоже москвич, сообщил за чаем, что он парторг своего института. Мама была молчалива, особенно в сравнении с отцом, но могла произнести и что-то такое, неудобное, в сторону. Она здесь бывала только в июле и августе, а отец – во всякое время. Летом жил наверху, а зимой – тут приблизительно, где теперь стоишь ты. “И вот сейчас выпархивает птица / Сквозь пустоту тогдашнего окна...”

Стихи стихами – исчезновение дома вызывает растерянность: камни, как выясняется, тоже недолговечны. Печально, хотя, разумеется, есть вещи и пострашней, да и ты не Набоков, не Пруст. Походи между сосен по мягкому мху, подойди к воде. Ни высокие старые сосны, ни худенькие деревца возле берега, ни заросли камышей никуда не девались – вот они, тут как тут.

Такое воспоминание: семьдесят восьмой год, август – тебе, значит, скоро пятнадцать. С Харитошей, дружком на всю жизнь, одноклассником, вы спустили на воду яхту “Дельфин”, гэдээровскую, клееную-переклеенную (тогда было принято вещи чинить), два шверта по бокам – препятствуют дрейфу, дают курсовую устойчивость. Вы отплываете в путешествие по Зарасайскому озеру – ты на стакселе, Харитоша на гроте и на руле. Крутой бейдевинд – готовься откренивать! “Мамаша – до свиданья, подруга – до свиданья, / Иду я моряком в Балтийский флот”. Но у вас оторвался шверт, и вы никак не можете вывести лодку из бухты, волны относят вас к берегу. Вяло, по очереди вы пробуете грести. Отец наблюдает с мостков: он уже несколько раз влезал в холодную воду, выталкивал вас из зарослей. Стоп. У Харитоши идея: “Неплохо бы раздобыть эпоксидки. Шверт присобачить, черт бы его...” – “Ах, эпоксидки!..” Стоя по пояс в воде, отец произносит длинную речь. “Засранцы” – самое теплое слово, которое он подобрал.

Эпоксидка становится именем нарицательным для неуместных идей, а лодку свою ты увидишь на киноленте, когда начнешь разбирать архив. Начало шестидесятых, к “Дельфину” прицеплен мотор, мачта убрана, отец на корме, мама на водных лыжах катается по Оке. После

смерти отца ты стал импульсивен, деятелен, пришло теперь время принять на себя и другие обязанности: вставлять фотографии в рамки, приводить в порядок архив.

После того что случилось с домом, к исчезновению баньки ты совершенно готов – она была ветхая, деревянная. Мылись в субботу, а в пятницу носили из озера воду, заготавливали дрова. “Хорошо поработали”, – говорил ты десятилетним мальчиком Иозасу, высокому худому хозяину с огромными, очень сильными, черными от работы руками, тебе хотелось к нему подольститься. “Да, дали просрать”, – отвечал он мечтательно. Иозас курил сигареты без фильтра: запах горелой спички и прочее – если захочешь, то вспомнятся и банные приключения, но опять же это путевые заметки, не фильм “Амаркорд”.

Итак, ни дома, ни баньки, и даже мостки заменили на нечто безвкусно-фундаментальное. Не застревай тут, на полуострове, бери с собой Томаса и поезжайте на Свенту, но перед этим – в лес.

Женщина-библиотекарь нарисовала план: шоссе на Дягучяй, поворот на Дусетос, потом, после второй автобусной остановки высматривайте указатель “Место гибели восьми тысяч евреев, расстрелянных немецкими фашистами 26 августа 1941 года”. Слово “евреи” на обелиске казалось невозможной смелостью, во времена твоей юности это слово употреблялось только в особых случаях – не советскими же гражданами было их называть. Слева и справа – ров, поросший травой, двести тысяч литовских евреев лежат в таких рвах.

Десоветизация коснулась и памятника: русскую надпись убрали. Правильно ли? – решать не тебе, ты бы ее сохранил. Теперь тут две надписи – идиш с литовским. “На этом месте нацистские убийцы и их пособники зверски убили восемь тысяч евреев – детей, женщин и мужчин. Священна память невинных жертв” – идиш. В литовском варианте к пособникам добавлено уточнение – “из местных”.

Были и те, кто спасал. И кто сначала расстреливал, а позже спасал, и даже наоборот – в это трудно поверить, однако бывало и так.

Порядок поддерживается образцовый: ограда, аккуратный бордюр, на обелиске Звезда Давида, на постаменте свечи, флаги Израиля, камушки, кто-то принес небольшой самодельный крест. Этого прежде не было.

– Терпеть, оплакивать, – говорит Томас, – удел литовцев.

Все знают здесь анекдот про то, что последней женой непременно должна быть литовка: будет кому за могилкой смотреть. Нет, это не “женщины сырой земле родные”, напротив – поиски бытового выхода из любой самой страшной жизненной ситуации.

По дороге в гостиницу вспоминается невысокий мрачный старик лет шестидесяти, “из местных”, с почерневшим от пьянства лицом, слесарь или электрик, ездил на мотоцикле с коляской, сколько-то лет отсидел: “Поляков – к стенке. Русских – к стенке. Жидов... – он поднимал глаза на отца, – жидов через одного”.

Теперь бы это с рук ему не сошло, а тогда, хоть и без умиления, терпели: ведь оккупанты. *Zysiai* — другого слова в литовском нет. Старик этот тоже смотрел на себя как на жертву, со всех возможных сторон. Радио “Свободная Европа” вплоть до середины пятидесятых передавало им, лесным братьям, утешительные сообщения: держитесь, ребята, осталось немного, скоро опять мировая война.

На Свенту в прежние времена выезжали на целый день – с пледами и едой, с книжками, с кружками для черники, корзинами для грибов, с волейбольным мячом, и машина была такой, что через дыры в полу виднелся асфальт, и коробка передач была, разумеется, механической. Как же вы подняли на смех маму, когда она, позже уже, с наступлением свободы, приехала из Америки и сообщила, что машины теперь не имеют педали сцепления – такого не может быть! – и она согласилась: вам лучше знать. И как бы хотелось теперь поделиться с отцом

простой радостью – от совершенства автомобиля, пусть и взятого напрокат. Дорогу можно не спрашивать – ее указывает навигатор. Он предлагает Свентское озеро, *Sventes ezers*, – то, что надо. У тебя самого на обложке *Maksimās* написано.

Это что же, граница? Разве Свента находится в Латвии? Конечно, вы ведь ездили в Даугавпилс, когда зачем-нибудь нужен был настоящий город. Там Ленин возле вокзала в шапке-ушанке стоял в любую жару, и большая тюрьма. ЛитССР, ЛатССР – границы носили характер не слишком серьезный. А вот и дорога знакомая, с гравием, тут ты учился водить. И лес – большой, неухоженный. Все знакомо: дорога и лес.

Туристов, видимо, мало, и нет запрета на то, чтоб подъехать к воде. Многолюдно на Свенте и не было – одна из причин любить ее, – раньше, однако, здесь был заповедник: никаких костров и машин. А все остальное по-старому: вот он – песочек, вот плоскодонка с черным, блестящим, жирно просмоленным дном, а вот и мостки, подгнившие, тебе так не хватало мостков. Пробуешь по ним походить и оказываешься по щиколотку в воде. Сушишь ноги, оглядываешься.

“Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек”. Не отсюда ли, прячась за теми деревьями, ты оглашал окрестности ревом трубы? “Поэма экстаза”, “Гибель богов” – этот рев ты считал музицированием. “Неритмично, зато фальшиво”. – Друг-пианист, тот, что теперь в Амстердаме, уговорил оставить трубу, перейти на флейту – тихий, чувственный инструмент, – полюбить ее не удалось. Ощущение счастья все равно как-то связывается с трубой.

О тайнах счастья. Последнее написанное отцом письмо заканчивается так: “Собрались вместе – говорим или молчим, и нет уже чувства того, что жизнь состоялась или не состоялась. Иногда я думаю: может быть, мы как раз счастливы?” Пытаешься рассказать Томасу о родителях, но как сообщить тайну личности? – это даже сложнее, чем переводить стихи.

“Нас могут ждать всякие потрясения. Каждого человека они могут ждать, нас тем более. Надо действовать так, чтобы мы их меньше боялись”, – отец, например, хорошо помнил, как в какой-то момент (дело врачей и вокруг) он не мог найти самой простой работы, как почти что с надеждой ждал депортации на Дальний Восток: лишь бы всем вместе, лишь бы рядом были свои. Письма его носили характер скорей назидательный, он спешил тебе что-то важное сообщить, а для мамы это был способ продлить молчание. “День провела, как в поезде: просыпалась, засыпала и ничего не делала... А болтаю я просто так, нельзя же молчать в письме”.

Некоторое время постоять еще у воды, выкурить сигаретку, повспоминать о чем-то необщем, съесть мандарин. Мертвовато тут, тихо – кладбищенской тишиной.

И лишь вернувшись в гостиницу и изучив обычную карту, бумажную, ты поймешь, что ошибся. Свентес, Швян-тас, Швянтайи, Святое озеро и Святая река – названия эти встречаются и по ту, и по эту сторону от латвийской границы. Озеро Швянтас – вот что вы звали Свентой, вот куда ты хотел попасть. Как же ты так обозначился, обдернулся? Разница в птичке, гачеке: *Sventas ezeras*, ехать на юг, на Турман-тас, ни в какую ни в Латвию.

Томас скажет:

– А вы все узнали, Максим: и дорогу, и озеро.

Да, узнал.

По пути в Вильнюс вы сравниваете впечатления. Для Томаса кульминацией вашей поездки стал грохот грузовиков по булыжнику возле костела, ветер и град, а ты и внимания не обратил. Странно с этими воспоминаниями: бывает, слушаешь целый концерт, а всего-то потом и вспомнишь, что на дирижере носки были красные.

Аисты и холмы, и много воды, небо напоминает голландское, но пейзаж выразительней – из-за холмов. Как бы жилось тебе тут? Да, провинция, но не провинциально, не чересчур.

Просто такая страна в Восточной Европе – во многих отношениях только завидовать. Все здесь наладится потихоньку, если не будет воздействий извне.

“Когда я была столпом общества...” – одна немолодая твоя приятельница с этого любит начать свою речь. Может, вправду была. И в Литве есть любители вспомнить о временах, когда Великое княжество простиралось до Черного моря (главным образом, за счет удачных женитьб), но здесь из былого величия не извлекают практических выводов.

“Вы просто всего не знаете”, – слышал такое и в Париже, и в Риме от антиевропейски настроенных русских людей. Только и разговоров: там-то и там нас не любят. Друзья мои, больше всего нас не любят дома, в Москве.

“Надо действовать так, чтоб мы меньше боялись...” Тогда тебе не было двадцати, теперь уже больше пятидесяти. Говоришь Томасу:

– Поразительным образом все вернулось. Мои заботы тридцати-с-лишним-летней давности были ровно теми же, что сейчас: 1) не замараться, не испаскудиться, 2) не сесть и 3) не пропустить момент, когда будет пора уезжать насовсем. И надежда прежняя, призрачная: вот проснемся однажды, а весь этот морок закончился.

Обстоятельства вынуждают, однако, не спать, поглядывать в разные стороны, крутить головой. Остроумный приятель твой скажет: у князя Андрея Курбского были похожие настроения. Для Курбского и закончилось все Литвой.

“Выходи к помойке”, – пишет на телефон *Boris*, друг Боречка, большой музыкант, скрипач, недавно он перебрался сюда из Лондона. Мужественно сражается с литовскими суффиксами – *zmogus, zmonija, zmogiukstis, zmogiskumas* (человек, человечество и т. д.), – хотя в Литве, говорят, вполне можно обойтись английским и русским. Кстати, птички над буквами, гачеки, изобрел Ян Гус.

Боречке хочется, чтобы город тебе понравился, он тебя водит туда и сюда, извиняется за всякие некрасивости, вроде той же помойки, подумаешь! Жизнь не богатая, но и не нищая, а главное – запретов, ограничений, шлагбаумов и другого мучительства меньше, чем ты привык за последние годы в Москве. Вильнюс хорош: чисто, но не прилизано. Там, где тебя поселили, – поместь Серпухова с Парижем, а старый город – очень особенный, ни на какой другой не похож.

– Всюду масса проблем, – улыбается хозяин артистического кафе.

Опытный человек, он успел пожить и в Израиле, и в Америке, чуть ли даже не в Иордании, и знает, о чем говорит. А ждет ли он, например, что спецслужбы (кто знает, как они называются?) отожмут у него кафе, и спасибо, если в тюрьму не посадят? И никакая *Amnesty International* ухом не поведет. Он искренне удивлен: нет, ничего подобного ждать не приходится, какое все-таки счастье, что распался Советский Союз! Ты тоже мечтал об этом еще до всякой Литвы, еще когда восьмилетним мальчиком читал Диккенса, “Пиквикский клуб”. И знал, что есть такой город Лондон, в книгах, на картах, но увидеть его – не мечтай, сынок.

– Видно, что автор мало знаком с теорией прозы Виктора Шкловского, – произносит один из слушателей, негромко, однако отчетливо. Здоровенный литовец, работает в Вильнюсской обсерватории. Трудно не быть высокомерным, если работаешь в обсерватории.

Разговоры, чтения – по-русски. Для кого тогда, спрашивается, было книжку переводить? Ответ известен: для автора. – Поэтому кто у нас пойдет в магазин? – Это, правда, тебе было сказано совсем в другом месте, хотя и по сходному поводу.

Ужупис, район свободных художников, с шуточной конституцией и правительством (Томас в нем занимает немалый пост) – здесь ты прочтешь свой рассказ “Фантазия”:

– Хьюстон... – произносит Ада задумчиво. – Мы, Андрюш, в Вильнюсе квартирой обзавелись... – Вильнюс, рассуждают они, от всего не спасет. Впрочем, с израильским паспортом... – Ого, у них и израильский паспорт есть?” – и слушатели заулыбаются, и в конце подойдет москвич твоих приблизительно лет, выпускник физматшколы и доктор наук, – окажется,

что квартирка, в которую тебя поместили, – его, он только что не помашет у тебя перед носом лессе-пассе, израильским паспортом, но у него он есть. Значит, рифма найдена, число в ответе получилось целое, не какая-нибудь иррациональная галиматья.

– Приезжайте почаще, а то и давайте уже насовсем. Поверьте, тут есть что любить.

И дружеские враки будут, и бокал вина – не один. “Вы просто всего не знаете”, – тут никто ничего подобного не говорил. В последний день пребывания в Вильнюсе начинаешь встречать знакомых на улице. Вильнюс способен отвлечь и развлечь – ровно настолько, насколько надо. “Разве мне может быть грустно, оттого что тебе хорошо?” Разделить чувство радости – для этого человеку идеально подходят родители. Всё, займи свое место и стань пассажиром, сядь ровно, ремень пристегни.

Мечты отпадают одна за другой – некоторые оттого, что сбылись, но в основном за ненужностью. Отцу хотелось, чтоб ты стал доктором медицинских наук, – зачем? Или: присмотришь было красивое кладбище над Окой, на другой стороне, условишься обо всем с женщиной, которая им заведует, но вдруг это станет совсем ни к чему – тихое, уютное кладбище есть и здесь, под рукой, на твоём берегу.

Там есть что любить – это точно. И тут тоже есть, еще как! – только б найти просвет между темными, твердыми дядьками, заслонившими выход, выбраться на простор. Но о дядьках все уже сказано. Вспомни тех, кого любишь – хотя бы священника, который всех твоих родственников хоронил. “Аристократизм и простота, в нем есть лучшее, что есть в русских людях”. Об этом и думай, на воду смотри, вспоминай Литву.

Сильно за полночь ты окажешься дома. Останется выйти в сеть и вместе с родными прочесть из первой главы Иоанна с начала и по семнадцатый стих – на славянском, английском, немецком, русском. Такая у тебя будет Пасха в этом году.

Таруса, апрель 2017 г.

Москва – Петрозаводск Рассказ

*Внимай, Иов, слушай меня, молчи.
Иов 33:31*

Избавить человека от ближнего – разве не в этом назначение прогресса? И какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? – Правильно, никакого. Так почему же, скажите, хотя бы в дороге нельзя побыть одному?

Спросили: кто едет в Петрозаводск? Конференция, с международным участием. Доктора, кто-нибудь должен. Знаем мы эти конференции: пара эмигрантов – все их участие. Малая выпивка, гостиница, лекция, выпивка большая – и домой. После лекции еще вопросы задают, а за спиной у тебя мужички крепкие, с красными лицами, на часы показывают – пора. Мужички – профессора местные, они теперь все в провинции профессора, как на американском Юге: белый мужчина – полковник или судья.

Итак, кто едет в Петрозаводск? Я и вызвался: Ладожское озеро, то да се. – Не Ладожское, Онежское. – Какая разница? Вы были в Петрозаводске? И я не был.

Вокзал – место страшненькое, принимаю вид заправского путешественника, это защитит. Как бы скучая иду к вагону, чтобы сразу видно было – я к вокзалам привык, грабить меня смысла нет.

Поезд Москва – Петрозаводск: четырнадцать с половиной часов ехать, между прочим. Попугачики – почти всегда источник неприятностей: пиво, вобла, коньячки “Багратион”, “Кутузов”, откровенность, затем агрессия.

Тронулись, все неплохо, пока один.

– Билетики приготовили.

– Девушка, как бы нам договориться?.. Я, видите ли... Ну, в общем, чтоб я один ехал?

Оглядела меня:

– Зависит, чем будете заниматься.

Да чем я могу заниматься?

– Книжечку читаю.

– Если книжечку, то пятьсот.

Вдруг – двое. Чуть не опоздали. Два нижних. Сидят, дышат. Эх, чтоб вам! Не задалась поезд очка. Досадно. Устраивайтесь, не буду мешать – я наверх полез, отвернулся, они внизу возятся.

Первый – простой, примитивный. Голова, руки, ботинки – все большое, грубое, рот приоткрыт – дебил. Потный дебил. Телефон достал и играет. Треньк-треньк – в ознаменование успехов, если проиграл – б-ллл-лум, молнию свободной рукой теребит – тоже шум, носом шмыгает. Но вроде трезвый.

Второй, из-под меня, брезгливо:

– Курткуними, урод. – Раздражительный. – Не чвякай.

Тяжело. Колеса стучат. Внизу: треньк-треньк. Какая тут книжечка? Неужели так всю дорогу будет?

Вышел в коридор. В соседнем купе разговаривают:

– Россия относится к странам продолговатым, – произносит приятный молодой мужской голос, – в отличие от, скажем, США или Германии, стран круглого типа. В обеих странах я заметим, подолгу жил. – Девушка радостно охает. – Россия, – продолжает голос, – похожа

на головастика. Ездят по ней только с востока на запад и с запада на восток, исключая тело головастика, относительно густонаселенное, в нем можно перемещаться с севера на юг и с юга на север.

Это – слева от моей двери, а справа – пьют. Курицу рвут, помидоры руками ломают, чокаются мужики, гогочут.

Вернулся к себе. Господи, как медленно идет время, только из Москвы выехали.

Еще полчаса, еще час. Скоро Тверь. Дебил тренькает. Второй ожил.

– Звук выключи.

– То-оль, эта...

Толя, стало быть. Высокий, метр девяносто, наверное, пальцы длинные, белые, с круглыми ногтями. Лицо – ничего особенного. Губы тонкие. Лица словно нет. Не знаю, как объяснить. Что-то мне не понравилось в Толе. Импульсов от него не поступало, вот что. *Anaesthesia dolorosa* — болезненная потеря чувств. Проводишь рукой и не понимаешь – гладкого касаешься или шершавого. Не очень я придираюсь? Трезвый, учтивый, старается не мешать.

– Газеты, газетки берем, свежая пресса.

Мерси. Знаем мы ваши газетки: теннисистка разделась перед журналистами, трагедия в семье телеведущей, у миллиардера украли дочь. Секреты плоского живота. Криминальная хроника. Покойники в цвете. Тьфу. Толя, однако, газетку взял, пошуршал ею снизу. Через некоторое время – дебилу:

– Пошли.

Немного один побыл. Да уж, поездочка.

Перед всеобщим отходом ко сну произошло еще несколько малозначительных событий.

Во-первых, из соседнего купе – оттуда, где пили, – забрел пьяный. В руках он держал фотоаппарат. Пьяный открыл дверь, изготовился фотографировать, Толя дернулся ему навстречу и тут же отвернулся, спрятал лицо. Ага, гэбэшник. Чекист. Теперь ясно.

Пьяный потянул меня к себе, я как раз собрался зубы чистить. Щелкнуть их надо с друзьями. Щелкнул. Всё? Нет, не всё. Я должен выслушать историю его жизни. Почти падает на меня: водка, пот, курево – на, дыши. Расстояние должно быть между людьми. Как в Америке.

Мама ему в свое время сто рублей подарила на фотоаппарат, а потом – денег не было – забрала. А он с детства любил фотографировать. Вот ведь, а?! Сочувствую. Я пошел.

– Стоять! – он мне стих прочитает, козырный.

– Извини, – говорю, – прихватило. Я вернусь. – Еле вырвался.

– Па-а-а... тундре, па-а железной дороге! – заорал он, раскидывая для объятия руки – всем, кто не сумеет увернуться.

У меня еще не худшие соседи, как выясняется. Подумаешь, гэбэшник. Молчит и не пахнет. И дистанцию держит: тоже, как я, брезгует.

Во-вторых, оказалось, что воспользоваться ближним сортиром не выйдет: кто-то доверху забил унитаз газетами. Намокшие цветные картинки – зачем?

В-третьих, вода для чая оказалась чуть теплой, возможно, некипяченой.

– С-с-совок, – проговорил Толя.

Нет, не гэбэшник.

Общий свет гаснет, попробовать спать. Что их двоих связывает? Ничего хорошего. Не родственники, не сотрудники. Может, гомики? Кто его знает. И какое мне дело? Может, гомики. Среди простых людей это чаще встречается, чем многие думают.

Те же звуки: тук-тук, шмыг-шмыг. Жалость к себе. Я уснул.

Я уснул и спал неожиданно крепко и долго, а когда проснулся, то ждали меня раннее солнце, снег и очень сильный мороз за окном, судя по состоянию елок.

Не глядя на попутчиков, я вышел из купе. Поезд встал. “Сныть”, кажется, не разобрал надписи. Во время стоянок пользоваться туалетами... Подождем. Эх, еще пара часов – и вождь-ленный Петрозаводск, гостиница, теплая вода, обед с вином. На душе у меня было теперь много лучше. Что я, в самом деле, такой нежный!

Соседи мои были полностью укомплектованы: Толя, видно, вообще не ложился. Он сидел у окна, возбужденно крутил головой:

– Что, что такое? Почему стоим?

– “Сныть”, кажется, – сказал я. – Станция “Сныть”.

– Что? Серый, где мы?

– Полчаса стоянка. “Свирь”. – Серый производил теперь куда лучшее впечатление. Никаких детских игр, никакого шмыганья.

Серый ушел, поезд тронулся. Я кое-как умылся, выпил горячего чая и еще больше повеселел. Хотелось жить: завтракать, балагурить, сплетничать про московскую профессуру, нравиться молоденьким женщинам-докторам. Мы не опаздываем? Прошелся, узнал. Вроде нет.

Ой, а что случилось с соседом моим? Теперь, один, при свете дня Толя производил очень жалкое впечатление.

– Анатолий, вам плохо?

– Что? – Он повернулся ко мне.

Боже мой, весь дрожит! Я такое наблюдал много раз: к концу первых суток госпитализации больной начинает дрожать, чертей отгоняет, а то и в окно прыгнет – белая горячка! Вот как просто. Толя-то, оказывается, алкоголик.

– Девушка, – кричу, – девушка! У пассажира белая горячка, понимаете? Алкогольный делирий. Аптечка есть? – Нет никакой аптечки. Правда, совок! Ничего себе – к начальнику поезда! Да где искать его? – Винца ему дайте, я заплачу, он же вам все разнесет!

– Успокойтесь, пассажир, – говорит проводница. – Дружок его где?

– Да он еще в этой, Свмри, Свири, не знаю, как правильно, вышел.

– Куда он там вышел? Билет до Петрозаводска! – Раскричалась. – Сортир засрал своими газетами! Всю пачку взял! Туалетной бумаги мало?

При чем тут сортир? Пассажиру плохо. От нее помощь требуется, а не истерика. Он там уже, небось, головой об стены бьется. Все, поздно, прорвало:

– Сейчас разберемся с вашим купе, мужчина! Снимем вообще с поезда! – Убежала куда-то. Черт, страшно в купе заходить. Стою возле двери, жду.

Станция “Пяж Сельга”. Милиционер идет. Да, этот разберется. Я, кандидат медицинских наук, не разобрался, а он разберется. У товарища Дзержинского чутье на правду.

– Так, документики приготовили.

На мои он едва взглянул. А с Толей произошла ужасная вещь: он забрался на столик и принялся колотить башмаком в окно. Не с первого раза разбил, но разбил: осколки, холодный ветер, кровь. Случилось все быстро. Милиционер ударил Толю резиновой палкой по ногам, и тот повис, схватившись руками за верхнюю полку. Потом грохнулся на пол. Как его выволакивали, я не видел, проводница меня увела к соседям – приятному молодому человеку и девушке.

Толю били под нашими окнами не меньше минуты: прибежал какой-то парень в спортивном костюме, странно легко одетый, еще милиционеры. Били черными палками и кулаками. Так лечат у нас белую горячку – не самое, прямо скажем, редкое заболевание. Стоит ли подробно описывать? Есть у них термин – “жесткое задержание”. В какой-то момент мне послышался костный хруст, хотя что там услышишь за двойными-то стеклами?

Били и что-то приговаривали, о чем-то даже, видимо, спрашивали. Сбоку откуда-то приволокли Серого, тоже били. Серый сразу упал, спрятал голову, сжался весь, с ним они так не старались. Устали служители правопорядка.

Мы наблюдали за этим ужасом из окна, потом поезд тронулся.

– Ужас, какой ужас! – девушка плачет, зачем мы позволили ей смотреть? – Как страшно! Не хочу, не хочу жить в этой стране!

– Вот – то, о чем я говорил, – произносит молодой человек. – Но вздыхать на эти темы, охоть *контрпродуктивно*.

Я не сразу понял, что натворил. Так после роковой медицинской ошибки некоторое время отупело смотришь на больного, на экраны приборов, на своих коллег.

– Они отлично подходят друг другу, – продолжал свою речь молодой человек, – избиваемые и бьющие. Вот если бы профессора из Беркли так избивали, то он бы повесился от унижения. А эти встанут, отряхнутся, до свадьбы заживет.

– А вы бы? – спросил я. – Вы бы что сделали?

– Я бы? – он улыбнулся. – Уехал.

Мы все трое, по-моему, не очень соображали, что говорили.

– А отчего не уехать, – вступает девушка, – пока не побили? Нормальные люди не должны тут жить.

Мой новый товарищ опять улыбается:

– Не представляю, как пережил бы это путешествие, когда б не милая моя попутчица. В этом поезде даже нету СВ.

Я огляделся: странно, купе, как мое, а все здесь дышит порядком, благополучием. Молодой человек источает вкусный запах одеколona. Да, тоже на конференцию. Бывший врач, в нынешней *ипостаси* — издатель, журнал издает (“как Пушкин”), президент какой-то ассоциации, много чего другого. На столике полбутылки “Наполеона”. И девушка, правда, милая.

– Вам надо рюмочку. – И рюмочки у него с собой, из какого-то камня. Оникс, не знаю, яшма. Каменные рюмочки. Да, очень хороший коньяк.

Молодой человек объясняет, отчего до сих пор не уехал: культура.

– Скажем, для моих американских друзей *triple A* — Американская автомобильная ассоциация. А у нас какая ассоциация с тремя “А”? – Выдержал паузу. – Анна Андреевна Ахматова. – Победно оглядел нас и прибавил: – Да и бизнесы. – Так и сказал – *бизнесы*.

Хорошо отогреться под коньячок, когда стал причиной несчастья для двух человек!

– Вы абсолютно правы, – продолжает молодой человек. – Это не наша страна, это – их страна. – Разве я что-нибудь подобное говорил? – Мы с вами этих людей не нанимали себя защищать, заметьте. Действует своего рода негативный отбор. И вот результат: в рамках существующей системы гуманный мент невозможен! Система вытолкнет его. Что остается? Менять систему. Или опять – внутренняя эмиграция. На худой конец, – он трагически развел руками, – *дауншифтинг*.

Я поймал девושкин взгляд. М-да. Дауншифтинг.

В дверь постучали железным: “Через пятнадцать минут прибываем”. Надо идти к себе за вещами, сосед мне поможет, спасибо.

В разгромленном купе меня ждало важнейшее открытие: я понял, кем были Толя и Серый. Под лавкой рядом с моим чемоданчиком стояли две огромные клетчатые сумки, с какими путешествует только одна категория граждан – челноки. И странная дружба моих попутчиков стала понятна – очень разные люди подались в челноки – и зверское их избивание – тоже понятно.

– Сведение счетов с конкурентами, – согласился со мной молодой человек. – Ментовской заказ.

– А чего так стараться, если заказ?

– Для души. Я ж говорю, менты – не люди.

Челноки. Моему собеседнику есть что сказать и об этой сфере человеческой деятельности.

– Они, видите ли, выполняют важную общественную функцию, – говорит он своим красивым голосом. – Нам всем, всему обществу, в какой-то момент захотелось одного и того же – дорогих шмоток, часов “Ролекс”, не знаю, а тех, кто не может позволить себе швейцарский “Ролекс”, – он тряхнул левой рукой, – тех челноки вроде ваших этих – как их бишь? – обеспечивают “Ролексом” китайским, каким угодно, но ведь это тоже часы, они время показывают. И выглядят хорошо.

Тяжелые сумки какие! Куда их теперь девать? Отдать проводнице? Нет, эта сволочь у меня ничего не получит! Молодой человек пожимает плечами, я вытаскиваю сумки в коридор:

– Поможете донести?

– Знаете что? – он думает. – Давайте-ка свой чемодан. Ну как я буду выглядеть с этими жуткими баулами?

Ладно, спасибо. Мне хочется сделать ему приятное, и я говорю:

– У вас такая милая спутница!

– Да бросьте вы! – отвечает. – Ни кожи, ни рожи. Семь с половиной баллов.

Зачем-то я уточняю:

– По десятибалльной шкале?

– Нет, по семи-с-половиной-балльной! – смеется он. – И в голове у нее все совершенно *topsy-turvy*, понимаете? – вверх тормашками.

Я удовлетворен: ничего у него с ней не вышло. Странно, что в подобных обстоятельствах меня это волнует, но слишком обидно было бы провести время настолько по-разному.

Проводница равнодушно выпускает нас на перрон, девушку встречают, мы с ней прощаемся, ждем носильщика, потом, едва поспевая, идем за ним и видим транспарант: “Привет участникам...”, конференция действительно намечается серьезная.

Погрузившись в такси, молодой человек произносит:

– Знаете что, бросьте вы этих своих *избиенных*! – И тут же хмыкает пришедшей в его издательскую голову шутке: – Избиенных – *ISBN* какой-то.

– Но ведь именно я стал причиной их неприятностей! Не то слово – беды!

– А, – машет он рукой, – интеллигентский комплекс вины. По всей стране сейчас менты лупят челноков. Пора бы привыкнуть: жизнь устроена несправедливо. Оставьте вы это в покое. “Нет, – говорю я себе, – *это* я так не оставлю”.

По заселении в гостиницу я требую телефонный справочник и всюду звоню. МВД, РЖД, УСБ – куча аббревиатур. Как ни странно, легко пробился. “Подъезжайте. Полковник вас примет”. И вот уже через час или полтора я мчусь на такси в одно из их темных, безликих зданий. Клетчатые сумки со мной. Меня ждет полковник.

Черным по золотому – *Шац*, ниже – *Семен Исаакович* — написано на двери полковника, и еще ниже, в скобках – *Шлёма Ицкович*. Никогда не видел такого. Смело.

Хозяин кабинета только что проснулся и еще пребывал в летаргии. Он сидел на пустом диване, без подушки и одеяла, одетый в майку и в тренировочные штаны. Одной ногой Семен Исаакович уже полностью влез в ботинок, другой – еще нет. Это был человек лет семидесяти, маленького роста, совершенно лысый, без усов и без бороды, но со множеством волос из ушей и из носа – отовсюду, откуда волосы расти не должны. Руки, плечи и грудь его были покрыты черно-седой шерстью. Я подумал: “В Исава пошел”.

Как называть полковника? Имя Шлема и подходит ему, и нравится больше, но Шлёма, наверное, для своих?

– Полковник Шац, – произносит он, ковыляя к столу, – так и не влез в ботинок.

Ясно, товарищ полковник.

Живот у него большой, руки толстые, как у штангиста. Широкий, мясистый нос в рытвинах, и щеки все в рытвинах. Глаза описать затрудняюсь: я в них почти не смотрел. Полковник доходит до стола, надевает форменный пиджак поверх майки, садится.

Я немножко подготовился: врач, участник международного конгресса.

– Врач, – говорит он. – Бюджетник. – Молчит. – Сядь.

Сажусь на маленький стул напротив. В комнате всего-то есть: большой полированный стол, диван, несколько стульев. Видно, ремонт недавно делали.

– Аид?

Киваю. Смешно: бюджетник-айд. Как и он. Может, поговорим о деле? Излагаю: попутчики-челноки, негуманное, мягко сказать, отношение, сведение счетов руками его сотрудников. Хотелось бы беспристрастного разбирательства, справедливости. Как минимум вещи должны быть возвращены владельцам.

Полковник то ли кивает, то ли мелко трясет головой.

Телефон. Он снимает трубку, отвечает короткими предложениями, в основном матом. Я мата и вообще грубости не люблю, но здесь это органично.

Стены голые, без чьих бы то ни было изображений. Только на одной стене – карта мира с торчащими из нее флажками. Масштаб притязаний. Систему, по которой воткнуты флажки, понять невозможно.

– Давайте, заканчивайте там, – кладет трубку и обращается уже ко мне. – Парторг у нас был, Василь Дмитрич, хороший человек, каждое утро выпивал бутылку коньяка. В восемь ноль-ноль уже был бухой.

Зачем мне знать про Василия Дмитриевича? Ну-ну.

– ...Так он *тырил* столько, чтобы иметь каждое утро бутылку коньяка. Ты понял?

Я пока слушаю.

– ... А здесь вон, – кивает на телефон, – у директора государственного учреждения изъято тринадцать миллионов долларов – только наличными. Сотрудники по полгода зарплату не получали. Скажи мне, зачем этому *чудаку* тринадцать миллионов долларов?

Эффектно, да. Но как это относится к несчастным челнокам?

– Челнокам? Можно и так сказать. Читай.

Полковник достает ту самую газету, которую мне уже предлагали – в поезде.

“По подозрению в совершении двойного убийства, – читаю я, – разыскивается уроженец Петрозаводска... ” – и фотография Толи, с усами. Здесь он смеется, застолье. Убиты мужчина с подростком, девочкой. Пустили к себе Толю жить.

Очень тупо: мужчина жил вдвоем с дочкой, продал квартиру, чтобы переехать в меньшую, Толя вызвал товарища... Да, понимаю, Серый, Сергей.

– Нет, не Сергей, – говорит полковник. – Серый – от фамилии. Которая в интересах следствия не разглашается.

Я с трудом складываю газету, возвращаю ее полковнику, руки у меня дрожат, и голос дрожит.

– Извините, товарищ полковник, – все-таки произношу я, – но желтая, да и любая пресса – не доказательство. Это, простите, неубедительно.

– А ты что – суд присяжных, чтоб тебя убеждать?

Он сказал это так, что я понял: в газете написана правда.

Полковник достает несколько фотографий:

– Врач, говоришь? Ну, смотри.

Проходили мы судебную медицину, но это было другое. Мне стало нехорошо, и я этого не сумел скрыть.

– На, – налил мне воды. – Попей.

Как именно Толя с Серым их убивали, я рассказывать не буду. Есть вещи, которые вот точно никому знать не надо.

Объясняю полковнику: плохо спал, коньяк без закуски, ну, в общем...

– *Ферштейн*, – отвечает он.

– Зачем эти фотографии?

Для достоверности. Абонентов их здешних разговорить.

Вычислили убийц по телефонным звонкам из квартиры. Номера все фиксируются на АТС, я не знал. Кто-то один или оба звонили в Петрозаводск, и до преступления, и главное – после. Роуминг, сэкономили.

Они не сразу ушли, ночевали в квартире с трупами, это очень на меня подействовало. Когда умирает больной, то хочется окна настежь и поскорей из палаты, а эти... Да, ночь провели, может быть, даже две.

– Боже мой, – лепечу я, не соображая от страха, – я ночевал с убийцами! И спокойно спал! Ничего не чувствовал. Боже мой!

На полковника это не производит особого впечатления.

– Не думай о них, – говорит он. – Убийцы – средние люди.

Опять телефон, опять он больше слушает, чем отвечает, у меня снова пауза, и я этой паузе рад. Кладет трубку.

– Что тут? Смотрел? – Про сумки.

Нет, и в голову не пришло. Берет сумки, легко поднимает на стол. Очень сильный.

– Руками не трогай. А то придется пальчики откатать.

Электроника. Игровая приставка – для Серого, конечно. Открывает футляр:

– Это что?

– Флейта.

Девочка играла на флейте? Черт, мне опять дурно.

– Необязательно, все может быть из разных мест.

Шмотки. Даже шмотками не побрезговали! Нет, шмотки – иконы прикрывать.

– Иконы, – произносит полковник. – В Бога веришь? – Не дожидаясь моего ответа, говорит: – Теперь все верят. У нас даже еврейчики ходят с крестами.

Я инстинктивно провожу рукой по шее: не видна ли цепочка? Надеюсь, полковник не обратил внимания. Мне вдруг не хочется его огорчать.

Книги. Не книги – марки.

– Понимаешь в марках?

Нет, откуда? Марки, я знаю, бывают очень дорогие.

Полковник укладывает вещи назад:

– Все это стоит деньги.

– А у этих, убийц, интересно, на шее есть крест?

– Ничего интересного. Говорю тебе – средние люди.

Я встаю и хожу по комнате. Как же так, а? Как же так? Почему я настолько не разбираюсь в людях? Почему не понимаю сути вещей? Снова пью воду, я уже тут немножко обжился.

Полковник убирает сумки.

– Сядь. Ты все правильно сделал. Помог следствию. Пришлось бы в городе брать.

Теперь вижу: просто удачное совпадение. Оказывается, из Москвы тем же поездом ехал оперативник – их арестовывать. Вспоминаю человека в спортивном костюме. Просто удачное совпадение. Могли бы вообще не найти. Раскрываемость же ничтожная.

– Ничтожная? Кто сказал тебе? Какой *чудак*?

Полковник усмехается и ласково произносит: – Шлемазл.

Такого слова нет в моем лексиконе. Что это значит?

– Шлемазл, – с удовольствием повторяет полковник. – Недотепа.

Вот для чего я явился в Петрозаводск: чтоб меня обзывали. Горько.

– В Америке, – говорю, – как-то обходятся без того, чтобы бить всех подряд дубинками.

Есть процедуры. Я не выгораживаю убийц и так далее...

– В Америке, – отзывается он. – Я вот тебе расскажу.

И полковник рассказал мне историю своего отца.

Шац-старший, обрезанный еврей, в начале войны был призван на фронт, но повоевать ему не пришлось: уже в августе сорок первого вся их армия была окружена и сдалась. Шац обзавелся документами убитого красноармейца-украинца, так что его не расстреляли сразу и попал он не в концлагерь, а сначала в один трудовой лагерь, потом в другой. Оказался в Рурской области, на шахте.

– Знаешь, что такое по-немецки *Schatz*?

Богатство, сокровище, клад. Полковник кивает: отец кое-как говорил по-немецки, до войны все учили немецкий язык. Так вот, попал он на шахту с одним лишь желанием – жить. Хотя как представишь себе: война неизвестно чем и когда закончится, что с семьей – непонятно. Трудовой лагерь – не лагерь уничтожения, но из тех, кто просидел всю войну, уцелела одна десятая.

Пристроиться переводчиком? Нет, это было исключено. Во-первых, чтоб затеряться, надо быть как все, а во-вторых, нормальные люди в лагере были настроены исключительно по-советски. Только подонки имели дело с немцами больше, чем заставляют. Шац вел себя по-другому: он выполнял не одну норму, а две. За это давали премии – хлеб, табак. Бросил курить. Единственная, можно сказать, радость, а бросил – чтобы еды было больше, чтоб работать, выполнять план. У товарищей табак на еду менял и всегда был сыт. Когда поднимался из шахты первым, воровал у охраны – картошку, яйца, хлеб. Только еду. Били, когда ловили, сильно били, каждый раз – двадцать палок. Немцы, порядок. Вся спина была черной от палок. Били, но не убили.

– Так и не узнали, что отец ваш – еврей?

– Пока шла кампания по выявлению – нет. В бане его прикрывали, для своих он придумал что-то.

– Фимоз.

– Вот-вот. Потом узнали. От наших же и узнали.

Когда открылось, что Шац еврей, жить ему стало существенно тяжелее. Вроде как “полезный еврей” – слово на этот случай у немцев было. Норму уже выполнять приходилось тройную. И терпел – от немцев и от своих. Но настоящих садистов в лагере было немного. Охранники тоже – обычные люди.

– Средние, – подсказываю я.

– Да, средние, – полковник не замечает иронии.

Садистов немного было, не больше, чем теперь, но одна была – жена коменданта лагеря. Красивая баба, говорил отец. Туфлей любила ударить в пах. Штаны при себе снимать заставляла. Развлекалась, в общем. Доразвлекалась.

Освобождали их американцы. Делали так: окружали лагерь и ждали, пока охрана сдастся и заключенные ее перебьют. Сутки могли ждать, двое. Выдерживали дистанцию. Обычная для американцев практика. Немцы к ним в плен хотели, но зачем им пленные немцы?

– Что он с ней сделал? – спрашиваю.

– *Отымел*. Понял? Первым.

– А потом? Потом что? Убили?

– Ну, наверное, – пожимает плечами. – Немцев всех перебили, вряд ли кто-нибудь спасся.

Мы некоторое время молчим.

– Скажите, как отец ваш потом относился к немцам?

– Нормально. Почему “относился”? Жив отец. Злится только, что пенсию немцы не платят. Он нигде у них по документам не проходил как Шац.

Жив отец его. И что делает? – Ничего он не делает, что ему делать? На рынок любит ходить. Бабу эту немецкую вспоминает. Раньше, пока была мать, молчал, а теперь чаще, чем о собственной жене, говорит.

В кабинете почти темно. Мне вдруг хочется поддержать полковника, хотя бы посмотреть ему в глаза, но он сидит спиной к окну, и глаз его я не вижу. Пробую что-то сказать: про недержание аффекта, про старческую сексуальность. Принадлежность к врачебной профессии как будто дает мне право произносить ничего, в общем, не значащие слова.

– За всю войну, – говорит полковник, – отец мой не убил ни одного человека. И если бы американцы твои освободили его как надо, по-человечески, теперь бы он немецкую бабу эту не вспоминал.

Полковник закончил рассказ и постепенно впадает в летаргию. Наверное, надо идти?

Спрошу напоследок:

– А что флажки у вас на карте обозначают?

Он вдруг широко улыбается, в полумраке видны его зубы:

– Ничего не обозначают. Флажки и флажки. Просто так.

Ну что, я пошел?

– И куда ты пошел без шапки? – спрашивает полковник. – Шапка есть?

– О, даже две: кепка и теплая, шерстяная.

– Надень шерстяную.

Петрозаводск: темень, холод, лед, улицы едва освещены, ничего не разберешь.

Вечером встречаю на конгрессе молодого человека с красивым голосом, того самого, из поезда, он делится впечатлениями от города, говорит: “Такая же жопа, как все остальное”, и выражает желание продолжить знакомство в Москве.

– Пообедаем вместе? Мне бы было приятно вас пригласить.

Между прочим спрашивает меня:

– Разузнали про давешних *побиенных*?

Молодец, нашел слово.

– Нет, – отвечаю я. – Нет.

февраль 2010 г.

Маленький лорд Фаунтлерой

Рассказ

– Эрик, что за имя такое “Эрик”? – спрашивает неизвестная медсестра. – Не с любопытством спрашивает – с осуждением.

Он заходит в сестринскую, она не смущена, смотрит прямо, недоброжелательно. Такое имя, не извиняться же. Пусть. Привыкнут, одобрят – и имя, и всё.

Здесь он лечит больных по субботам: в реанимации и так, кого пришлют. Эрик у них единственный кардиолог.

Не город, но и, конечно же, не деревня, что-то промежуточное, средний род – предместье, вот правильное слово. Обитателям дач по ту сторону железной дороги оно является в снах, у всех почти одинаковых, местом для несчастий, бесформенным кошмаром. Даже по хозяйственным делам там не стоит бывать, да и переезд испокон века заслоняют бетонные тумбы, так что – только пешком или на велосипеде. “Ослика заведи”, – советовали остроумно.

Итак, если двигаться из Москвы, то по левую руку от железной дороги располагаются дачи, а по правую – хаос: многоквартирные дома, промышленность, серые бетонные учреждения. Промышленность в последние годы захирела, и, как говорят, к лучшему, если иметь в виду качество воздуха и воды, люди же в домах продолжают жить, и, хоть и вяло, – размножаться. А в целом поменьше бы думать про то, что творится за бетонными тумбами, – оно, глядишь, и сниться перестанет.

Вот дачи хорошие тут, классические: участки по полгектара, сосны, песок, не грязно никогда, много неба, один недостаток – отсутствие далей. Поезда не мешают, к поездам привыкли, а вот далей и большой воды, хотя бы реки, не хватает. Участки большие, очень большие, с почти одинаковыми домами – на две семьи, каждой по этажу. Теперь это кажется анахронизмом – *privacy*? – но дачи строили в конце двадцатых, для бывших политкаторжан, тогда и мечтать не приходилось о большей отъединенности, да и слова такого не было – *privacy*.

Бывших политкаторжан нашлось в свое время на восемьдесят с чем-то участков. Дачи с той поры, конечно, по многу раз сменили хозяев. Однажды на дне антресоли он обнаружил справку: в тысяча восемьсот восемьдесят первом году гражданка такая-то – дальняя, непрямая родственница – участвовала в царубийстве. Справка выдана по месту лечения, печати, подписи, дата – тысяча девятьсот двадцать шестой. Не стал никому показывать справку, пусть полежит.

Вот так – дача, не хуже, чем у многих, даже лучше, и ребенку полезно: хвоя. Как же он очутился на той стороне? Улыбался устало: зачем спрашиваете, я же, мол, врач. Соседку отвезли с сердцебиением, мерцательная аритмия, знаете, что это? Ничего, стукнули током тетеньку, вылечили. А совсем близким людям объясняет: внутренняя потребность.

Странное поведение, что и говорить. Боря, институтский товарищ, нейрохирург, улыбается широко, зубы у него изумительные:

– В любви к народу упражняешься, Швейцер? Или семья надоела? – Было всегда в Эрике что-то неправильное. Лучше б докторскую дописал.

Да нет же, он только по субботам, при чем тут семья? Один на один с больными, как в юности. Боря все пристаёт, ему можно: набрал для него лекарств у себя в отделении. Боря лысоватый, плотный, мясной: крепкие руки, толстые пальцы, не хватает лишь волосатой груди из разреза пижамы. Они работают в одной многопрофильной клинике, разные кафедры, разные корпуса, у Бори дача по той же ветке неподалеку, и карьеры складываются похожим образом.

– В кого ты получился такой... – ищет слово, – аристократ? Был ведь, как все, пионером. Другие, что ли, тебе книжки давали, чем нам? – Боря им недоволен: тоже мне, доктор Гааз, “спешите делать добро”.

Какую книжку Эрик сам прочел – первую? Должен помнить.

– “Маленький лорд Фаунтлерой”.

Про что эта книжка, и кто ее автор, Эрик забыл. Надпись на ней была, маминым почерком, тогда еще твердым, красивым, и даже не скажешь, что женским: “Чтобы жизнь тебе не мешала становиться добрее и лучше” и день его рождения, шесть лет. Учили быть хорошим. Зачем быть хорошим, не объясняли, и так ясно. А надпись эту и название он помнит: “Маленький лорд Фаунтлерой”.

Полставки ему предложили, с платных услуг, хозрасчетные. Он и не думал про деньги. Почему нет? Он согласен. Сколько возьмет себе? Как-никак с собственным оборудованием... Оборудование не вполне собственное, из клиники, все маленькое, переносное, в понедельник он его возвращает.

– Половину.

Женщина-замглаврача улыбается, хотя тут не принято. Она ему не удивилась: мало ли зачем москвичу их больница? Наука, то да се, знаем. Деньги никогда не лишние, но пятьдесят процентов – заведомо многовато.

– Женщина к нам приходит, знаете, умерших одевать, подкрашивать, все такое, берет только тридцать.

Надо же, вот кто его конкурент! Теперь, похоже, он обеспечен историями, это вам не Москва. И там, понятное дело, разнообразие: вот у них тысяча двести сотрудников на четырехста коек, так что все, кто лечатся, – или родственники врачей, или активные люди, приезжие, или – за деньги. Истории случаются, конечно, но келейно, камерно, до Эрика доходят редко.

А этой самой женщине он ничего не скажет, все останется между нами, *entre nous*, понимаете? Впрочем, – широкий жест, не зря, видно, Боря дразнится аристократом, он готов и бесплатно, и... как угодно.

– Бесплатно? – Вот это зря. Так его надолго не хватит. Она поводит головой влево, вправо. – Каждый труд должен быть вознагражден.

Правда, зря он, само как-то вышло. Не хотел никого обидеть. Да и параллельные деньги, пусть маленькие, пригодятся.

– В рабочем порядке решим, – произносит новая его начальница.

Паспорт, диплом, копия трудовой, ага, ординатура, кандидатская. Все, устроился.

Он идет через двор, осматривается: несколько корпусов, охрана, как у больших. Надо же, уже устал. А потому что жарко, ужасно жарко, и ведь еще только май. На даче не так. Ну да, тут асфальт.

Медперсонал: все серые, вежливые, движутся тихо, силы берегут.

– Инфаркт. Посмотрите, если желаете.

Что значит “желаете”? Стесняются попросить, думает он, и смотрит. Нет тут никакого инфаркта, все отменить – и домой. Чем не веселье? Все здесь им внове, и кое-что получается, а вот – не весело. И медсестру ему дали – кусок глины, младше него, но кажется старше. Все тут знает, смотрит внимательно, без улыбки, все делает. Зубы у людей плохие, оттого и не улыбаются. Как на картинах старых мастеров, – заключает Эрик, старается всех любить.

Жаркий двор, он сюда вышел побыть один, выглядывает из-за деревьев: приходят и уходят люди, с ошибочными диагнозами, случайными назначениями. Ничего, скоро он все улучшит. Устраивает семинар, но говорит на нем только сам, сотрудники явились, терпят, молчат.

Больных прибывает, и иногда он выбирается по ту сторону тумб и в пятницу вечером, и, когда позовут, в воскресенье. И стало прохладнее, начало июня выдалось холоднее мая.

– Какие-то они беспородные, – жалуется Эрик на коллег и на пациентов.

Чему удивляться? “Участвовала в царубийстве” – вспоминает он ту бумажку. И все-таки прежде, во времена своей юности встречал он еще на лицах людей породу, не наследственную – приобретенную, книжную, а тут – о какой книжности говорить, когда отсутствует элементарная сообразительность:

– Это трудно, но не невозможно, – объясняет он медсестре. Речь про то, как перевести тяжелого больного в Москву. Сестра растеряна: так возможно все-таки или нет?

Впрочем, надо присмотреться: всюду жизнь, всюду люди должны быть симпатичные и не очень, и не заключена ли нравственная ошибка в самом этом слове “они”?

В середине июня замглаврача просит его явиться в рабочий день. – Заболел кто-то ценный? – Нет, вызывают в “органы”, для беседы. – Зачем? – Разве можно об этом по телефону? – Начальница его спокойна, и Эрику пугаться нечего.

Один из массивных серых домов, заметных из электрички: здесь эти самые “органы” помещаются. Возле проходной его ожидает старший лейтенант, ему лет тридцать, а может быть, и не тридцать, Эрик уже понял, что возраст он определять не умеет. Вежливый, за руку здоровается, лицо некрасивое, в оспинах. Лейтенанта он рассмотрит потом, а пока что они направляются в бюро пропусков, все движется законным порядком.

Страшновато чуть-чуть, да и зачем эти подробности, когда – для беседы? Можно поговорить, например, и в больнице. – Нет, у нас так не принято.

Наконец они проходят в кабинет, который лейтенант делит еще с одним молодым человеком. Тот изготавливает из картона скоросшиватели, такие всюду продаются и стоят недорого, и занимается ими все время, пока лейтенант допрашивает Эрика. В кабинете бедно, даже не бедно, а прямо-таки разруха, нищета, больница и то современнее. На стене карта мира, на подоконнике – газета с окурками, кипятильник, израсходованные пакетики из-под чая.

– Курите? – Лейтенант протягивает пачку.

– Нет, – зачем-то врет Эрик. – Могу я поинтересоваться...

Потом, ему все объяснят, а пока пусть послушает: против себя и ближайших родственников он может не свидетельствовать. Понятно? Тогда распишитесь. Еще минутку внимания: о каких именно родственниках идет речь. Муж – жена, сын – дочь... Список заканчивается неожиданно: дед, бабушка. Эрик смеется, немножко заискивающе:

– Прямо написано – “бабушка”?

– Да, таков юридический язык, – его собеседник тоже улыбается, ласково.

Всё? Нет, теперь он сам прочтет статью про то, какая ответственность предусмотрена за ложные показания. И за отказ от дачи показаний. Значит, он вызван свидетелем?

– Ладно, какой там... – лейтенант машет рукой: поступил сигнал, и они его отрабатывают.

Эрик рассматривает книгу: странно издан уголовный кодекс, с карикатурами. А лейтенанту нравится: расслабляет. Наконец он показывает бумагу, ту самую, которая – сигнал. Имя автора ничего Эрику не говорит, и он его сразу забывает. Чужие люди явились в наш дом – вот общее настроение бумаги, про него, про Эрика, писано. А вывод такой: не позволим! Ничего не позволим: опытов над людьми, трансплантации наших граждан на органы. Поэтому лейтенант и пригласил его: имеет он отношение к трансплантации? Нет? Так и запишем. Лейтенант вздыхает и принимается печатать протокол медленно-медленно, все старенькое, допотопное.

А что он вообще думает о трансплантации? – Не решение проблемы, конечно, но в отдельных случаях... Некоторым из его больных пересадка сердца сильно удлинит бы жизнь. Да только нет никакой у нас трансплантации. А органов хватает – вон сколько аварий и

катастроф. Но тут знаете, какая организация нужна? Заморозить, доставить, быстро врачей собрать. У нас и простых-то вещей нет, а уж трансплантации...

– Эх, лента стерлась вся, – опять вздыхает лейтенант.

Давно Эрик не видел матричных принтеров. Он решается теперь покурить, смотрит в окно: надо же, скоро вечер. Сосед лейтенанта уходит, где-то там, в районе дач, спускается солнце. Наконец и лейтенант доделывает работу и принимается за рассказ об успехах их службы, об огромных технических достижениях, о том, какие они молодцы. Единственная некоррупцированная организация. Вот ведь, кто б мог подумать.

Вроде можно уходить, сейчас лейтенант подпишет пропуск. И вдруг он просит ответить еще на один медицинский вопрос:

– Скажите, грыжа диафрагмы – это очень опасно? – как он разволновался, даже голос стал выше.

– Нет, что вы! – восклицает Эрик, его отпустило. – Ерунда. Не ложитесь сразу после еды – вот и все.

Оказывается – не всегда ерунда. У лейтенанта ребенок умер от этого, двухлетняя девочка. Операцию сделали – и умерла.

– Где? – теряется Эрик, трудно все время вот так перестраиваться. – Не у нас?

Нет, девочка умерла в Москве, в ведомственной больнице. У нас таких операций, скажи, не делают. Так и есть... А недавно у лейтенанта еще одна дочь родилась, какова вероятность, что с грыжей?

За последние несколько минут лейтенант очень изменился. Или это свет так падает? А про грыжу он почитает, поспрашивает.

Вечером в субботу двадцать первого июня на дачу к нему заезжает Боря: футбол посмотреть, после грозы телевизор у него не работает. Эрик равнодушен к футболу.

– Великая игра, – объясняет Боря. – Кульминация всего мужского: удар – гол. Как секс. – Жене и ребенку лучше не слушать. – Только футбол еще лучше, с бабой там – мало ли, облажаешься, а тут полтора часа чистого кайфа. Понятно?

Да понятно, понятно все.

Наши выиграли, и Боря собирается уезжать – очень довольный: не хвост собачий, в четверку сильнейших вышли. Крякает удовлетворенно: хороший тренер у нас, голландец! Он, Боря, всегда говорил: надо брать иностранного специалиста. Жалко, Эрик так ничего и не понял в футболе.

– Будь проще, – советует Боря, – и к тебе потянутся люди.

Хочет ли Эрик, чтобы люди тянулись к нему? Не особенно.

– Аристократ, аристократ, так и есть, дайте ручку поцелую.

– Перестань, – просит Эрик, – не паясничай.

– Слушай, а они тебя любят – там? – Боря показывает в сторону станции.

– Смотря кто, Боря, нет никаких “они”. – Рассказывает немножко про лейтенанта и его дочерей, эх, так он и не почитал про диафрагмальную грыжу. – А любят ли? – Он задумывается. – Если честно: не любят, нет.

– Ну и чего ты цацкаешься с ними? Совесть замучила? Знаменитое чувство вины? – Тут, может быть, Боря и прав: чувство вины, перед всеми – сначала родители, теперь жена, ребенок – присуще Эрику. А уж перед некоторыми больными как виноват! – навсегда.

– А тебя, Боря, – хочется ему спросить, – совесть ни за что не грызет? – Нет, не грызет, конечно: он ей не по зубам.

– Ладно, – Боря хлопает товарища по спине, – все будет кока-кола, живи футболом! – и уезжает, а из-за станции слышится рев: “О-ле, о-ле, о-ле, впе-ред, впе-е-ред...” Там грохот,

рев, салюты, сигнализации у машин надрываются, у нас на дачах пока спокойно. “Оле, оле” – да, развивается язык. Пьяная, плавающая, наглая интонация.

Днем в воскресенье, двадцать второго июня, передают: “Скорбь, связанная с годовщиной начала войны, разбавляется нашей общей радостью о вчерашней победе”. И тут же звонок: всё понимаем, но нельзя ли срочно – в больницу?

На “скорой” оживленно. Здоровенный дядька лет тридцати, еще фельдшер, милиционер, еще человек какой-то со стертой внешностью – в пиджаке, а на кушетке – парень, крепкий такой, качок. Фамилия его – Попров, семнадцать лет. Плохо именно ему, сердце болит. Стоило ли ехать? Эрик смотрит парня, слушает, кардиограмма, то-другое, так и есть – здоровехонек. Нервничает только, дрожит он очень, оттого и помехи на кардиограмме, а так – ничего. Надо писать заключение.

– Фамилия как? Попов?

– Попров, – ревет здоровенный дядька. – Попров Алексей! – Он не знает, кто такой Попров? – Совсем, что ли, отмороженный? А-а-а, нездешний... С дуба рухнул, нездешний?

Милиционер выталкивает дядьку за дверь.

– Кто он ему? – не понимает Эрик. Для отца вроде молод. Ну так, дядя. Помощник отца вообще-то, по общим вопросам, ничей он не дядя. – И что натворил задержанный? – равнодушно спрашивает Эрик, как свой, иначе ничего не узнаешь. Да так, таджика отмудохал бейсбольной битой. Попраздновал. – Бита-то зачем? Откуда вообще тут биты? У вас что тут – бейсбольный клуб?

Ржут все, даже, кажется, Алексей.

– Один? – спрашивает Эрик фельдшера, пока Попова поднимают, дают одеться.

– Кто с тобой еще был? – орет на Попова милиционер.

Разве так на ходу допрашивают?

– Касаемо этого, гражданин начальник...

Ишь ты, набрался слов.

Попров оскаливает зубы. Он своих не продает. Вот так, принципы. Зубы у него крепкие, белые, еще мощнее, чем у Бори. “Врежут раз – и расколется”, – думает вдруг. Ладно, он только врач, и чем отвратительнее подопечный, тем сильнее надо стараться.

– Вот таблеточки – успокойсья, – принес ему пачку, из личных запасов.

У Эрика из-за спины появляется чья-то рука, неприметный человек забирает таблетки.

– А вы ему – кто? – спрашивает Эрик его тоже.

– А я ему, – отвечает неприметный, – начальник изолятора.

По-простому – тюрьмы. О, это запомнится.

– Послушайте, уважаемый!.. – обращается к нему начальник тюрьмы, что-то он должен ему разъяснить.

– Доктор, – подсказывает Эрик, – говорите: “доктор”.

– Наша система, доктор, чтоб вы не подумали, работает медленно, но...

Но – что?

В коридоре – его медсестра, откуда она тут в воскресенье? Расстроена: жалко Алешу ужасно, знала еще ребенком. – И какой он был ребенок? – прямо удивил ее Эрик своим вопросом: дети все хорошие. Жизнь себе Алеша испортил, жалко. В секцию самбо ходил, собирался стать стоматологом. – А этого, таджика, не жалко? – Да, жалко, конечно, тоже человек. Где он, кстати? – Тут он, в реанимации, на искусственном дыхании. Желаете посмотреть?

Чего уж там, давайте. Таджик, худой, черненький, без сознания. Сколько ему? Двадцать два. Впечатление, что гораздо меньше, совсем мальчик. Татуировок нет, кожа смуглая, кровоподтеки. Глаза закрыты марлей. Снял, посмотрел зрачки, глаза у таджика серые. Муха по плечу ползает, пошла вон! И руки посмотрел: ни ушибов, ни ссадин – ни с кем он не дрался. – Ночью к нам поступил: кома, переломы лицевого черепа, ребер. Не по вашей части. – Из мочевого кате-

тера капает мимо банки, поправьте. Грустно все это выглядит. Монитор, аппарат искусственной вентиляции – все кажется живее мальчика. Сердце еще послушал – тут все нормально, пока. А мозги живые? Кто же их знает...

А где старший Попров? В Европе он, наших поддерживает, двадцать седьмого – полуфинал. Побеспокоить бы можно было вашего Попова. Нет, Попова, по-видимому, лучше не беспокоить.

Он возвращается на дачу, ест, станет прохладнее – и в Москву. Но после еды засыпает, а проснувшись, думает: Попров-младший, Алеша, умница-стоматолог, купил, значит, битую... Вот тебе и самооборона без оружия. “Брата” смотрел неоднократно, любит. У таджикского мальчика на шее штука какая-то металлическая – не крестик, не амулет: имя, может быть? – мама надела, перед тем как поехал сюда. Зачем ехал? А все едут. Люди поступают как все. “Не убивай, брат”, – просит мальчик. А Алеша Попров улыбается во весь рот и – по накатанному: “Не брат ты мне, гнида черножопая!” И битой – куда придется.

Тяжесть, Господи, какая тяжесть... Звонит, сонный, Боре:

– Физкультпривет, – говорит. И молчит. – Ты уже с дачи уехал? – И опять молчит. По шуму в трубке ясно: уехал.

– Чего надо? Чего молчишь?

– Собираюсь с духом, попросить, – эх, лишь бы вышло! И просит.

Нет, Боря уже уехал. *Ох, fuck.*

– ... Сказал бедняк, – отзывается Боря.

Удачно вышло, и вдруг:

– О-кей, разворачиваюсь. – Хороший он, Боря.

Через полтора или два часа они стоят возле больницы, Эрик курит, они говорят. Плохо дело, еще хуже, чем предполагалось. И все-таки надо в Москву везти, томографию головы сделать, какой-то шанс есть. Хорошо, Боря его заберет, с ребятами договоримся. Выписку давай, паспорт, консультацию мою запиши. Родных нет? Чего он, совсем бесхозный?

В пустой ординаторской они пьют кофе, болтают на национальную тему.

– Таджики арийцы. Что бы это ни означало.

– Да? – Боря не знал, думал, хачики.

– Хач, кстати, – Эрик интересовался, – по-армянски – крест.

– Крестики. Тоже неплохо. Крестики-нолики, – Боря шутит из последних сил.

Перевозка приходит под утро.

Хороший он все-таки, Боря.

– Ты тоже ничего. Маленький лорд Фаунтлерой. – Оба едва стоят на ногах от усталости. – Теперь ты их благодетель. Такого больного перевести, а! Ничего, довезем. Кто не рискует, не пьет шампанского. Хочешь шампанского?

Эрик качает головой:

– Что-нибудь придумают нелестное, вот увидишь, – но и сам не очень верит в то, что говорит. Такое даже *эти* оценят.

На неделе он отвлекается от истории с таджиком, да и не теребить же Борю каждый день. В пятницу утром, проезжая мимо спортивного, вспоминает, останавливается. – Биты? Да, сколько угодно. – А... варежки такие и шары для бейсбола? – Нет, не поступали. Мы не в Чикаго, моя дорогая, – вдогонку.

Собравшись с силами, он звонит-таки. Боря расслаблен: снова жара, в футбол наши слили. Германия с Испанией в финале, две страны фашистского альянса. Работы, как всегда летом, мало.

– А этого нашего, – Эрик называет таджика, – куда дели?

– Куда что, – отвечает Боря самым естественным тоном. – Сердце в Крылатское уехало, легкие – на “Спортивную”.

Разобрали таджика на органы, короче говоря.

– ... С легкими лажа вышла: хотели оба взять, а взяли – одно. Эрик снова молчит в телефон.

– Почки еще есть, – наконец произносит он тупо.

– А почки как-то никому не приглянулись, – хмыкает Боря. Зачем он смеется? Этого делать не следует.

– Доктор, вам показалось, – отвечает Боря. – Смерть мозга, умер он. Вот так. Мы его и смотрели-то, в сущности, мертвым.

Знал Боря, что так получится, или нет, когда увозил? Он его все-таки спросит. По крайней мере, имел ли в виду – возможность?

– Когда разворачивался на шоссе – не имел, а потом, когда забирали, то да, подумал. Я, видишь ли, нейрохирург. Никто тебе ни в чем не виноват. И потом: господин кардиолог, вы что-то имеете против трансплантологии?

Эрик вспоминает про “если зерно не умрет...”, про “жизнь за други своя...”. Нет, там другое, там добровольно...

– А у нас – презумпция согласия, слышал? “Нравится – не нравится, спи, моя красавица”. Иначе вообще бы органов не было. Пьяный завтра тебя или меня на “КАМАЗе” задавит – и распотрошат за милую душу. Хотя сам знаешь, все у нас через жопу. Один раз четко сработали – ты и то... Ну помер бы твой таджик, как другие, – лучше было бы, да?

Может быть, и лучше, Эрик не знает. Смерть мозга, Боря сделал, что мог, это ясно, но зачем...

– Зачем что? – Боря уже очевидно устал.

– Эти словечки... Да-да, в словечках все дело.

И что Эрик объяснит теперь *тем*, за бетонными тумбами?

– А ты скажи им, что таджик их, возможно, две человеческих жизни спас. Шире надо смотреть. У нас ведь – никакой личной корысти.

Корысти, Боря, корысти. Кто говорит про корысть? Правда, не ссориться же им в самом деле. Жизнь одним таджиком не заканчивается, в медицине всегда так.

– Неврачебный разговор у нас вышел какой-то, дружище, – говорит Боря примирительно. – Никто не знал, что так будет. – Да, печальная сторона профессии. – Ну все, брат, давай.

Конец связи. Достаточно.

Вечером безо всякой аппаратуры он отправляется на дачу, где ждут его жена с ребенком, необходимость вырубить разросшиеся клены, поменять насос, оформить собственность на землю. Всё как у всех.

За бетонные тумбы он больше не ездил.

август 2009 г.

Цыганка Рассказ

Он и человек разумный, и врач неплохой, мы хотим лечиться у таких, если что.

Врач, две работы – денежная и интересная. На интересной он думает: настоящая работа, врачебная, денег только не платят. А человек он молодой, ему нужны деньги. Маленькие дети, сиделка для бабушки, машина ломается, много желанных предметов, много всего вокруг, не стоит и объяснять. Но дольше, чем на несколько секунд, он о деньгах не задумывается. Нужны – и всё.

Денежная работа вызывает, напротив, долгие размышления. Я небесталанный, думает он, молодой – бабушка жива, разумеется, молодой, – многое надо успеть, на что я жизнь трачу? Он знает, на что ее тратить: жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. Отец ему говорил, назидательно, тяжело: занимайся тем, что имеет образ в вечности. И стихи читал, другие и эти. Давно это было, больше десяти лет уже, как нет отца.

Интересную работу его вообразить легко: смотреть больных в клинике, радоваться, когда помог, сделал что-нибудь новое, диагноз редкий поставил, огорчаться – ну тоже, конечно, когда больные умирают или приходится много писать. Того и другого хватает: скорпомощная больница, дежурства, но он хороший врач, мы уже говорили.

Кое-как платят и здесь: благодарные больные, их родственники. Гонораров себе он не назначает: мало ли что все, он – не все.

Денежную работу представить себе сложнее. Вот что это: возить за границу больных эмигрантов. Есть такая организация – отправляет людей насовсем в Америку, под присмотром. Евреи, баптисты, бакинские армяне, курды, странные люди – куда они едут, и как это все работает? Люди странные и занятие странное – возить их, но хорошо платят: шестьсот долларов за перелет.

И вот сегодня, в пятницу, – передать дежурство, забрать медицинские причиндалы, попасться на глаза начальству и к часу – в аэропорт, в Америку лететь, в который раз? – он давно уже сбился со счета. Быстренько сдать больного – да, надо еще из Нью-Йорка долететь до конечного пункта, на этот раз близко – Портленд, там его встретят друзья: два часа – и они уже в Бостоне, и в Америке все еще пятница. Деньги заплатят в Нью-Йорке, с больным он расстанется в Портленде, друзья – муж с женой, его однокурсники, рано поженились, рано уехали, любимые, надежные – не дадут истратить ни цента, а утром отвезут его прямо в Нью-Йорк – как раз туда собирались, они любят Нью-Йорк, они любят все, что идет их с ним дружбе на пользу. Будет суббота. Он вернется домой в воскресенье, выпится – и на работу, главную, интересную. Так каждый месяц.

Но когда он собрался уже идти, выходит заминочка – Губер. Большую одну надо глянуть. Губер – заведующий коммерческим отделом – обидчивый, вялый, мстительный, в сознании врачей – вор. От коммерческих больных – одни неприятности, а деньги все равно не врачам идут. Заметьте, Губер просил не сам, а через медсестер. Сам бы он выразился в том духе, что вам, мол, все равно делать нечего, так что посмотрите пациентку, пожалуйста.

Он посмотрит, но быстро. Где она? – в коридоре.

Сестра, тихо:

– Цыганка.

Он цыганку одну уже полечил месяца два назад. Странная была женщина, нетипичная. Сестры предупреждали: поосторожнее с ней. Молча разделась – по пояс, как велено, без обычных вопросов: “Бюстгальтер снимать?” Торжественность и презрение. Молча повернулась на

левый бок, когда надо было. Без шуршания женского, безо всяких фру-фру, без “Ой, это сердце мое так булькает?” Очень резко взяла заключение. Кажется, сказала: “Спасибо”. Чувствовалось: ненавидит она их, – слово в голову пришло – вертухаев. Раз в форме, пускай в медицинской, в халатах, в пижамах, то кто же они? – вертухаи. Куда она так торопится? Сестра объяснила: женщина в микрорайоне известная, наркотики продает. Сестры всё знают, они ведь живут тут, им удобней работать по месту жительства. Так что торопится женщина – дело делать. Сын у нее еще – взрослый, девятнадцать лет, не в его дежурство это было, – умер. Вот отчего такая торжественность. Ладно, ничего серьезного, да и цыганка она какая-то ненастоящая. Худая, стриженная. С фамилией искусственной – что-то такое, как будто русское, цирковое. Замужем, интересно? Сестры и это знают: первый – повесился, нынешний муж – без ног, попрошайка. Честно говоря, достали эти несчастья. Ну, врач не должен так думать, тем более – говорить.

Сегодня другая цыганка. Та была относительно молодая, эта – старая.

– Что у них с нашим Губером? – удивляется медсестра. – Всей правды мы никогда не узнаем.

– Зовите ее, быстро только.

Суетливая бабка с невнятной речью, рыжие, неаккуратно крашенные волосы, руки грубые, отеки вокруг перстней, отеки лица, ног. Пестро одета бабка, наши не так одеваются.

Сестра ворчит: вот укуталась!

– Тепло уже, бабушка, апрель!

И что, что апрель? – ей всегда холодно.

Хорошо, что ее беспокоит? Они спешат.

Цыганка мямлит, не разберешь. Сколько ей лет? Она и возраст назвать свой не может!

– Бабка, ты не в гестапо, – взрывается медсестра, – говори!

Нельзя так с больными, особенно – коммерческими, от Губера.

Им надо записать ее год рождения.

– Пиши – двадцатый...

– А на самом деле какой?

– Двадцать восьмой напиши... Тридцатый.

По документам – двадцатый, но не выглядит цыганка на семьдесят девять. Что за галиматя? “Галиматня”, – говорит Губер, он из Молдавии. Его не поправляют, а за глаза смеются.

Спросим: сколько ей было во время войны? Не помнит. – Какой войны? – Войну не запомнила? Да где она жила?

Отвечает:

– В лесу.

– В лесу? Что делала?

Сестра смотрит на него: неужели же он не понимает, что они делают?

Цыганка:

– Песни пела.

Песни? В лесу? Давайте, раздевайте ее совсем.

Сестре его явно не по себе.

– Таблеточки назначь, получше, – просит цыганка.

Раздевайте, раздевайте. По кабинету распространяется удушливый запах.

– Обработать надо опрелости, – злится сестра. – Ну и вонь!

Протрите вот тут. И тальком. Нечистая бабка, что говорить.

Он смотрит ее на аппарате – сердце большое, хорошо видно. Действительно, сильно больная. Положить бы. Сейчас он распорядится. Сестра возражает: пропадет что-нибудь из отделения, а кому отвечать?

Бабка и сама не хочет лежать в больнице:

– Таблеточки получше назначь...

Ладно, пятнадцать минут еще есть, йод давайте, спирт, катетер, перчатки стерильные, новокаин. Ставит метки на спине у нее фломастером:

– В легких вода накопилась, сейчас уберем.

Сестра качает головой: только посмотреть просили, Губер будет не рад. – А мы ему ничего не скажем, вашему Губеру. Проводить через кассу не надо.

Что там бабка бормочет? – Она не русский человек, не может терпеть боль. – И не придется, укольчик и все.

Пусть жидкость течет, он напишет пока.

Полтора литра в итоге накапало.

– Легче дышать?

То-то же. Он дописывает заключение. – Пусть дадут ей таблетки получше, – просит цыганка, снова уже одетая, – и будет им счастье.

– Счастье? – кривится сестра.

Он знает, что она хочет сказать: от цыган – все несчастья. Нет, он кривиться не станет – не из суеверия, а так.

– Таблеточки получше, – повторяет бабка, – и чтоб сочетались, ты понял... – зубы оскаливает золотые.

С чем они должны сочетаться? С гашишем? Или с чем пожестче? Бабка пугается: зачем так говорить? Рюмочку она любит, за обедом. – Ну, если рюмочку... Да, отличные таблетки. И сочетаются.

Счастье, – думает он, – надо же! Счастье.

Цыганка принимает совать ему смятые деньги. Там одни десятки, ясно видно. Он отводит ее руку – какая, однако, сильная! – а сам понимает: все дело в сумме, были бы тысячные бумажки, он бы, возможно, взял. Так что гнев его – деланный, и всем это ясно, кроме, как он надеется, медсестры.

– Разве можно в таком виде к доктору приходиться? – возмущается та, выпроводив цыганку.

Медсестра у него – нервный, западный человек! Окна открыла настежь, прыскает освежителем. Всё, он пошел.

– Вы меня извините, – произносит сестра, – но таких вот, как эта, вот честно говоря, ни капельки не жалко. Таких, я считаю, не следовало бы лечить.

Сейчас она скажет, что Гитлера в принципе не одобряет, хотя кое в чем... Какой там западный человек, просто дура!

Выходя уже из больницы, обгоняет цыганку. Та хватает его за рукав: дай погадаю! – Нет, мерси. Дорога дальняя, он и так знает, что его сегодня – причем уже – ждет.

Он ездит в Шереметьево на машине – и долго, и расточительно, но он привык, хотя всехто вещей с собой – медицинская сумка, книжка, рубашка, трусы-носки. Все, кроме сумки, он сегодня забыл, почти что сознательно: так и не придумал себе чтения, а переоденут его бостонские друзья – после поездок к ним в его гардеробе всегда происходят улучшения. Читать он не будет, послушает музыку, у него с собой ее много и на любое состояние души.

В Шереметьеве его ждут огорчения. Во-первых, что, впрочем, не страшно, больная доставалась тяжелая – старушка с ампутированными ногами, слепая, с мочевым катетером, у старушки сахарный диабет. Предстоит колоть инсулин, выливать мочу, каталки заказывать. С ней, однако, разумный как будто муж – ничего, долетим. Много хуже другое – он промахнулся с Портлендом. В билете не Портленд, штат Мэн, меньше двух часов на машине от Бостона, а другой Портленд, штат Орегон, на противоположной стороне Америки.

Надо же так обмишуриться, тьфу ты! Он рассказывает окружающим – люди из таинственной организации, отвечающей, в частности, за билеты, смеются: не такого уровня несчастье, чтобы сочувствовать. Эх, предупредить друзей – вот расстроятся! Он из Нью-Йорка им позвонит. Не несчастье, но лажа.

Ребята из службы безопасности – “секьюрити”, русские – знают его давно, не шмонают, а так – поводят руками в воздухе: “Взрывчатые вещества, оружие есть?” – улыбаются, он и им рассказывает про передрагу с Портлендом. – Портленд, – говорят – ничего, не так страшно, вот Окленд есть в Новой Зеландии и в этой, ну, где? – он подсказывает: в Калифорнии, – да, так один мужик... – Простые ребята, но есть в них какой-то шарм. Ему нравится постоять с ними, поразговаривать. Опять-таки униформа их, видимо, действует.

Сейчас он – в который раз? – выслушает историю про то, как американка везла с собой кошечку – их помещают в специальные клетки, сдают в багаж, – а кошечка сдохла, грузчики шереметьевские ее выкинули, чтобы не было неприятностей, а в клетку засунули другую, живую, кошку, отловили тут где-то, и американка настаивала на том, что не ее это кошка, потому что ее была – мертвая, и везла она ее на родину хоронить. Возвращалась откуда-то. Из Челябинска. В прошлый раз было наоборот – американка с дохлой кошкой прилетела из Филадельфии. В сегодняшнем виде история выглядит естественной, и все равно она, конечно, выдуманная, и американцев ребята называют америкосами и “пиндосами” – новое слово, нелепое, “секьюрити” и в Америке не были, – но каждый раз он смеется. Всё, пора в самолет.

– Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятья! – поет один из парней.

– Прокатился бы я вместо тебя, доктор, – говорит другой мечтательно, – на небоскребы на ихние посмотреть.

Нет, ребята, медицина – это призвание.

– Прощай, немытая Россия! – произносит молодой человек, сидящий через проход.

Стандартный для отъезжающего текст – при нем его произносили не раз. Вначале, когда начинал летать, ждал человеческого разнообразия – эмиграция, серьезный шаг, потом понял: работа – как в крематории или в ЗАГСе, ограниченный набор реакций.

Взлетаем. Перекреститься – тихонько, чтобы не думали, что ему страшно, и не пугались, на самом деле – ничего от тебя не зависит. За рулем, на скользкой дороге, в темноте – намного страшнее.

Самолет неполный, но не сказать чтоб пустой. Два места у окна – его. Следующие двое суток предстоит провести в пути. Два дня жизни в обмен на шестьсот долларов. Друг отца, бывший политзэк, рассказывал: труднее год сидеть, чем пятнадцать лет, год – только и ждешь, когда выпустят, не живешь. Что же тогда говорить про поездку длиной в два дня?

Надо бы встать, проведать больную. Или еще подождать? Не лень даже, а профессиональная неподвижность, он всегда презирал ее в реаниматологах.

Есть в этом странном деле и свои способы сплутовать. Например, сделать вид, что ты здесь случайно, по своим делам летишь: пассажиру плохо, а тут русский доктор, и лекарства – чудо! – с собой. Стюардессы дарят таким докторам шампанское, разные милые вещи, помогают всячески. А разоблачат – и что? – так, чуть неловко. Они иностранцы, и он для них – иностранец. Если же здоровье подопечного позволяет, можно и не лететь ни в какой Портленд, проводить до самолета – счастливого вам пути, *have a good flight!* – и застрять в Нью-Йорке на лишний денек. Имеющим наглость так поступать он завидует, но сам повторять их трюки не станет: мало ли – случись что, да и от слепой безногой старухи разве сбежишь? Его еще, между прочим, просили за баптистами присмотреть – им тоже до Портленда. С баптистами нетяжело: ни на что не жалуются, таблеток не пьют, да как-то и не болеют особенно, бестолковые только, детей целый выводок – вон, сидят в хвосте – раз забыли ребеночка одного в Нью-Йорке, потерялся в аэропорту, они и это легко приняли – добрые люди найдут, дошлют.

– Как себя чувствуете? – измеряет старушке давление, пульс.

Она в полусне. Отвечает муж:

– Как вы пишете в таких случаях – в соответствии с тяжестью перенесенной операции.

Что за операция? – Пятнадцать часов в поезде из Йошкар-Олы.

Мужа зовут Анатолий. Без отчества.

– В Америке нету отчеств.

Действительно нету. Страна забвения отчеств. Самолет – уже американская территория.

Ему хочется знать, что согнало их с родных мест, ему интересны люди, но, во-первых, он борется с привычкой задавать посторонние вопросы, на которые, как считается, у врача есть право, – отчего перебрались туда или сюда? чем занимаются дети? даже – что означает ваша фамилия? И, во-вторых, он боится стереотипной истории. Жили себе и жили, но тут сестра жены, скажем, или его двоюродный брат говорят: подайте бумаги в посольство, на всякий пожарный. Подали и думать забыли, и разрешение, когда пришло, игнорировали. Наконец, бумага: сейчас или никогда. Слово на людей действует – “никогда”.

У Анатолия все иначе: у жены появилась почечная недостаточность, скоро понадобится диализ. Надо ли еще объяснять? В Америке сын, инженер.

– В Йошкар-Оле совсем плохо с медициной, считайте – ее просто нет.

Он кивает, думает: эх, если б раньше уехали, а так, конечно, старушка умрет на высоком технологическом уровне, вряд ли ей сильно помогут, – но говорит:

– Да, все правильно. Правильно сделали, что поехали.

– А Портленд – большая глушь? – спрашивает Анатолий. Хорошая улыбка у него.

– Как сказать? В сравнении с Йошкар-Олой...

– Бывали в Йошкар-Оле?

Он отрицательно мотает головой.

– А в Портленде?

– В этом Портленде – тоже нет.

– В Америке – двадцать один Портленд. Я смотрел. Наш – самый крупный.

Анатолий заговаривает со стюардессами, пробует свой английский. Вполне, кстати сказать, ничего. Старомодно немножко, а так – даже очень.

– Благодарю вас, польщен. – Вообще-то он сорок лет английский в вузе преподавал.

Не пора инсулин делать? Нет, пусть он не беспокоится: Анатолий сам. И инсулин сделает, и мочеприемник опорожнит. Отлично. Если что, они знают, как его разыскать.

Снизу земля. Канада уже? Смотрит на часы: нет, Гренландия. Еда, немножко сна, кинишко ни про что. Как там баптисты? Помолились, поели, спят. Позавидуешь.

Наконец-то. Первые десять часов убиты. Самолет приступает к снижению.

Нью-Йорк: ожидание коляски, возня с бумажками, мелкое недоразумение с офицером иммиграционной службы.

– Сколько лет работаете врачом? – спрашивает.

– Уже десять. С двадцати двух. Нет, трех.

– *Bullshit*, – говорит офицер. Галиматня. Такого не может быть. Русские обязаны служить в *Red Army*.

Он пожимает плечами. Псих. Можно идти?

Анатолий догоняет его в вестибюле: он все объяснил офицеру. Про военную кафедру и т. п. Офицер просил передать извинения. Удивительно. Извиняющийся пограничник. Точно, псих.

В остальном все идет гладко. Они получают багаж – Анатолия, старушки, баптистов – и снова сдают его – в Портленд. До отлета еще три часа, пусть они посидят пока, он вернется. Надо друзьям позвонить, поменять билеты.

Найти автомат становится все сложнее: теперь у многих тут, включая приличных с виду людей, сотовые телефоны. У нас они только у торгашей, у Губера есть такой... Всё, друзьям позвонил, расстроил их, в Нью-Йорк они, разумеется, не приедут. Когда теперь? – Как всегда, через месяц. В следующий раз – уже точно.

А билет поменять надо так, чтоб ночевать в самолете. Утром он походит по Нью-Йорку, посидит в Центральном парке, в “Метрополитен”, если силы будут, зайдет, купит своим подарком. Про “Метрополитен” он по опыту знает, что не зайдет.

Билеты меняют посменно два человека – белый и негр – ребята-врачи прозвали их Белинским и Чернышевским. С Чернышевским не сладить – тупой, но сегодня – ура! – Белинский. Быстро и без доплаты: обратный рейс через четверть часа после прибытия в Портленд. За опоздание можно не волноваться: туда и сюда одним самолетом. Хоть тут повезло. И еще: Белинский может сделать билет в первый класс в одну сторону в счет его миль. Хочет он этого? – Да.

Самолет до Портленда почти совершенно пуст. А в первом классе он и вовсе – единственный пассажир. Стюардесса мужского пола, стюард, можно, наверное, так выразиться, – Анатолий подсказывает: бортпроводник – приветствует их у входа. Красавец-мужчина – в ухе серьга – как там? – *left is right!* – действует тут это правило? – и пахнет изумительно одеколоном. Ароматный стюард! Конечно, какой там бортпроводник!

– Знаете что, – предлагает стюард, – давайте посадим леди и мужа ее рядышком с вами. Замечательная идея.

– Видите как? – ему хочется, чтобы Анатолию в Америке нравилось.

Стюард помогает старушке усесться, помогает скорей символически, двумя пальчиками, но все же. Хвалит ее косынку: красивый цвет. И то сказать, если б у нас безногая старушка решила полететь в самолете, то ее, вероятно, и на борт не пустили бы: зачем ей летать? Во всяком случае, она бы до самолета не добралась. А первым классом у нас вообще летают одни жлобы.

– *How can I harass you today, sir!* – а стюард-то еще и с юмором.

Этого, кажется, даже Анатолий не понял. Тема харасмента – домогательств – в Америке очень чувствительная, все у них так – кампаниями. Вот и переделал стюард *how can I help you!* – чем могу вам помочь?..

– Понятно, понятно. Лучше перевести: “чем могу вам служить?” – мягко поправляет его Анатолий.

Тоже верно.

Удивительно, как такие мелочи поднимают настроение. Итак, что будем пить? Он вопросительно глядит на Анатолия – тот его не осудит? – все-таки доктор при исполнении – и заказывает: “Кампари” со льдом для себя и для Анатолия, апельсиновый сок – для его жены.

– Первый раз пьянствую в самолете, – говорит Анатолий. – Мы с вами теперь – небесные собутыльники.

Чуть-чуть вермута, пьянством это, конечно, не назовешь.

За окном – полная уже темнота, спереди за занавеской что-то жарится и вкусно пахнет, инсулин сделали, таблетки все дали, в руках стаканы – за новую жизнь! – и тут случается неприятность. Вторая за сегодняшний день после промашки с Портлендом, псих-пограничник не в счет.

Он заказывает еду на всю компанию – себе, Анатолию, старушке – и щеголяет названиями блюд, переводит с английского и обратно – и вдруг их милейший стюард заявляет, что поскольку билет в первый класс имеется лишь у доктора, то господам, которых он сопровождает, полагается только закусочка – *snack*. Как говорится, *nothing personal* — ничего личного, таковы *regulations*, правила.

Именно, ничего личного. Он требует себе тройную порцию еды, дополнительных вилок, ножей, подходит еще стюардесса, морщит лоб, трясет головой, что же они, не понимают?

– Оставьте их, они правы, – просит Анатолий. Тоже мне – Грушницкий! – Оставьте. После нашего бардака, если что-то делается по правилам...

Нет уж, он им покажет *mother of Kuzma!*

Но, как всегда в таких случаях, ни личность Кузьмы, ни кто его мать, американцам узнать не удастся. Выкрикивая свои резкости, он в какой-то момент нелепо оговаривается, он и сам не понимает, где именно, но, конечно, безграмотная ругань, да еще с акцентом, смешна. Стюард – сука! – широко улыбается, стюардесса отворачивается, от смеха поддергивает плечами. Остается махнуть рукой.

Скандал разрешается – никому уже не хочется есть, но что-то им все же дают, и они едят – и часа полтора спустя он встает по нужде и через занавесочку, отделяющую первый класс от обычного, слышит, как жалуется стюард: почему они так пахнут, русские? Какой-то специфический запах.

Ты бы попробовал – из Йошкар-Олы в Москву, потом Шереметьево, семнадцать часов лететь... Нашел дезодорант – в первом классе все есть, – опрыскался. Унизительно. Ладно, плевать.

Вот и Портленд. Командир корабля от лица экипажа благодарит вас... Баптисты уходят вперед. Он, старушка и Анатолий – последние в самолете, сейчас приедет каталка. Старушка – не такая уж и старушка, шестьдесят пять лет – просит мужа о чем-то тихо. Причесать ее. Он забирает у них все, что есть, выходит наружу, в холл. Вот он, их сын, один. Достойный, по видимому, человек. Уставший, тут много работают, очень много.

Встреча сына с родителями. Мать слепа и без ног – видел ее он такой? Объятие с отцом – лучше отвернуться, не слушать и не подглядывать. Тут не принято жить с родителями. А если бы инженеру и хотелось, жена б не дала, старики должны жить отдельно. Поместят их в хороший дом, язык не повернется назвать его богадельней. “Нам и самим так удобней”, – говорят старики. Сползание со ступеньки на ступеньку, в Америке все продумано. Его подопечные, впрочем, начнут уже с самого низа.

– Это наш доктор, – говорит Анатолий сыну.

– Очень приятно, – рукопожатие, усталый рассеянный взгляд.

Все, прощайте, не до него им теперь, да и ему через пятнадцать минут возвращаться. И тут вдруг – забыли чего? – баптисты:

– Доктор, пойдёмте, пойдём!

Двое юношей увлекают его за собой – туда, туда! – по эскалатору вниз. Что случилось? Он прибегает в зал выдачи багажа и ищет глазами лежащее тело – ничего, все стоят.

Багаж у них потерялся, вот. Братцы, – они ведь все “братцы” – стоило ли его звать? Некому заполнить квитанции? Вас же встречают.

Встречающих не отличить от вновь прибывших: те же не омраченные ничем лица. Никто не знает английского? Не могут адрес свой написать? А говорят еще: страна забвения родины. Нет, даже букв не знают. Давно в Америке? – Четыре года.

– Американцы, – объясняет один из встречающих, – такие добрые! Они с нами як с глухонемыми.

Багажа у баптистов – тридцать шесть мест, по два места каждому полагается.

Пока он возился с бумажками, самолет его улетел. Следующий – ранним утром, через шесть с половиной часов, он опять без труда меняет билет, он и должен был утром лететь. Теперь куда – в гостиницу? Пока доедет, пока уляжется – пора будет подниматься. Да и стоит

гостиница долларов пятьдесят. Как-нибудь тут. Душ принять, конечно, хотелось бы – ничего, перебьемся, переодеться-то не во что.

Другой конец Земли – само по себе это давно перестало приносить удовольствие. Он бывает в городах с красивыми названиями – Альбукерке, например, или Индианаполис, и что? Везде – в Нью-Йорке ли, в Альбукерке, тут ли – одно и то же – красные полы, красно-белые стены, идеальная ровность линий, тонов, ничто не радует глаз слишком, и ничто его не оскорбляет. И всюду, как часть оформления, негромко – Моцарт, симфонии, фортепианные концерты, не из самых известных, в основном вторые, медленные, части. Кто играет? Орегон-симфони, Портленд-филармоник, какая разница? Не эстрада, не блатные песенки. А как-нибудь так устроиться, чтоб – совсем тишина? Разборчивый пассажир – пожалуйста, никто не удивлен – можно посидеть в комнате для медитаций. Посидеть, полежать. Медитаций? Именно так, размышлений, у нас вон в аэропортах часовни пооткрывали – но поразмышлять и неверующему полезно, опять ничьи чувства не оскорблены.

– А курить можно в вашей комнате медитаций? – вдруг спрашивает он, сам себе удивляясь.

– Курить? – Он с ума сошел? – Курить нельзя ни в одном аэропорту Америки.

Вопрос про “курить” отрезает всякую возможность неформального разговора, показывает им, что он человек опасный. Ладно, ладно, он будет курить в отведенных местах, на улице.

Аэропорт совершенно пуст. Можно хоть сумку свою тут оставить? – Нет, ручную кладь надо брать с собой. – Что, каждый раз? Даже не пробовать тут улыбаться, *all jokes will be taken seriously*, вологодский конвой шутить не любит.

Порядок есть порядок, он понимает. У них и медицина от этого изумительная, в сто раз лучше нашей, и все же – глупо. Укладывать вещи на черную ленту помогает ему толстый седой негр, без неприязни, работа такая. Кажется, негр ему даже сочувствует. Наверное, сам потому что курит.

– Опоздал, теперь до утра, – объясняет он негру, возвращаясь с улицы второй уже или третий раз.

– *Just one of those days, man...* – повторяет тот.

По-русски сказали б: “Бывает”. У негра глубокий бас.

Он доходит до места, откуда видно шоссе – там едут редкие машины, не быстро и не медленно, у верхней границы дозволенного, – и вспоминает, как перемещался по окрестностям Бостона с друзьями, а иногда и один. И в каждой встречаемой им машине, он знал, сидит человек, ценящий свою жизнь не меньше, чем он – свою, и жизнь, и сохранность автомобиля, и оттого, как правило, осторожный, предупредительный, не презирающий себя за готовность уступить. Стоит ли прожить свою жизнь или хотя бы часть ее – почему-то хочется сказать: последнюю – тут? Тут правильно выбрасывают мусор и правильно ставят машины, научиться этому можно, проще, чем английскому языку. Не в одной безопасности дело. Он представляет себя пожилым, почему-то совсем одиноким – может, оттого, что в данную минуту одинок – в маленьком местечке на океане, у соседей его красные грубые лица, но сами они не грубы, они говорят про него: здесь живет доктор такой-то, им приятно, что их сосед – врач. Они устояли в жизни, и он устоял, а сколько раз могли сбиться!..

От усталости мысль его сворачивает в сторону: цыганка сегодня утром ему напроорочила счастье. Будешь тут счастлив! Есть ли в Америке цыгане? – они, кажется, всюду есть, – нет, связь с доисторическим временем здесь обеспечивают индейцы – впрочем, индейцев-то он за годы уже полетов и не видал – одни диковинные названия наподобие Айдахо, – и вот он снова проходит досмотр и уже лежит на красном полу, всюду линолеум, тут, в комнате медитаций – промышленный ковролин, и думает: я участвую в бессмысленной деятельности, а вечность есть, конечно, прав был отец, есть вечность, и осмыслено только то, что имеет проекцию в эту самую вечность, свою в ней часть. Лечение людей – неважно каких – имеет проекцию

в вечность, хоть и живут его пациенты не вечно, а иногда и совсем чуть-чуть. И встреча с друзьями, не состоявшаяся сегодня, – имеет. И слушание музыки, и разглядывание природы... А остальное – как это его дурацкое зарабатывание денег – *what a wastel* Отчего английские слова приходят первыми в голову? Ведь не так хорошо он знает язык, да и в русском немало синонимов для “впустую”: даром, втуне, вотще, понапрасну, все... Много слов: вхолостую, попусту, без нужды, зазря, почем зря...

Все, он спит.

Спит он не очень долго, часа полтора, и пробуждается от страшного шума: в комнату въезжает огромный, невиданный пылесос. Управляет им черноволосый маленький человек – мексиканец, наверное, – в наушниках, чтоб не оглохнуть. Наушники оторочены искусственным розовым мехом – как будто индеец с перьями на голове.

Он коротко смеется и тут же делает вид, что спит. Ужасный грохот, как можно спать? Ну не спит, медитирует, зачем-то ведь есть эта комната? Неохота вставать. Давай-ка, катись отсюда, индеец, и без тебя тут не грязно! Тот быстренько прохордится жуткой своей машиной – от него буквально в нескольких сантиметрах – все, снова один, тишина.

Он смотрит на часы, закрывает глаза и вызывает образы тех, кто его безусловно любит. Такой управляемый сон, почти целиком подконтрольный сознанию – и все-таки управляемый не совсем.

Ему хочется видеть отца – вот он, отец. Он принимает отца целиком, не как носителя свойств и качеств. Они хорошо известны ему – кому же еще их знать, как не сыну? – но к самому отцу, к тайне личности, не имеют словно бы отношения. Добрый, щедрый, самоотверженный – да, конечно, но все это может он сказать о своих друзьях, не о нем.

– Как же так? – говорит он отцу. – У меня есть душа, есть талант – не к одной медицине, ты знаешь, но вот – и к музыке был талант, определенно ведь был, я и теперь люблю музыку больше всего, в наше время это не так часто, и что же? Ездить в бессмысленные путешествия, потому что на главной работе не платят, лежать на красном полу, завидовать людям со строгими лицами и определенностью в жизни? – Он, видно, здорово устал, потому что разжалобился до слез.

А чего он, вообще говоря, плачет? Ну, устал, не тот Портленд, друзей не увидел? – еще увидятся, ночь на полу? – сэкономил сколько-то долларов, да и здесь вполне чисто, а что нет отца – одиннадцать лет прошло, а не привыкнуть никак.

От слез становится легче, он смотрит на себя немножко со стороны и видит комизм положения: взрослый дядька в слезах, красный пол, медицинская сумка под головой, и вскоре опять засыпает. И снится ему теперь уже полноценный сон: они с отцом сидят возле поломавшейся машины, рядом с тем местом, куда надевается колесо, сломалась – как называется эта штука? скажем, ступица или втулка, – ясно, что ничего починить нельзя – ни запчастей нет, ни навыков, – они в свое время часто оказывались в таком положении, – просто сидят на земле, и отец говорит ему: “Ты мой родной”. Дело не в словах, разумеется, а в содержании, во взгляде отца, который означает, что все идет правильно, как должно идти, и что отцу жалко, что сын его одинок.

Он опять на некоторое время задерживается между сном и явью, рывком встает, умывается в чистейшем сортире, как долго он путешествует – щетина выросла! – ни бритвы, ни щетки нет, скорей – кофе, еще успеть покурить – надо же, совсем забылся он в комнате медитаций, опять проверочка багажа, – мелочь из карманов, ключи, все надо выгрести, – служба безопасности успела смениться, но дело не пострадало – тщательнейший досмотр – не хватало на утренний рейс опоздать. Все, он уже в самолете, рейс по маршруту Портленд – Нью-Йорк. Пассажиров в салоне – не больше пятнадцати – двадцати, и пожилая невыспавшаяся стюардесса им объявляет: “Если вы хоть раз путешествовали самолетом начиная с тысяча девятьсот

шестьдесят шестого года, – как раз он родился, – то вам не надо показывать, как пристегнуть ремень”. Очень милое, артистичное отступление от правил.

Он смотрит в иллюминатор на капельки воды, разбегающиеся от ветра. Встреча с отцом не была, прямо скажем, громадной. Даже не обещание встречи – так, сон, всего лишь психический феномен, а все равно он чувствует себя ребенком, который долго-долго плакал, а потом на него посмотрели взрослые, ласково, так, чтоб он понял, что давно прощен, и слезы высохли, только вокруг глаз еще побаливает, но хочется уже движения, игрушек, еды.

Можно ему еще порцию? – Нет, разве что кто-то откажется. Порции – по числу пассажиров. – Спасибо, не беспокойтесь, он сыт.

Со своей щетиной и двухдневной немывотостью он, наверное, подозрителен, а возможно, и запах уже, американцы чувствительны к запахам, – ничего, наплевать, самому незаметно, как не слышен ему его русский акцент – развалился на трех сиденьях, ноги закутал пледом, в наушниках – Мендельсон, фортепианное трио, несовершенная запись, но какая проникновенная игра! Шесть часов передышки перед Нью-Йорком – городом желтого дьявола, кто назвал так Нью-Йорк?

По прилете им овладевает экономическая распушенность, и он покупает домашним нелепые дорогие подарки, а уже в самолете домой, еще на земле, совершает поступок, которого будет стесняться.

Обстоятельства таковы. Самолет переполнен, он сидит у окна рядом с запасным выходом – дефицитное место, заранее побеспокоился, тут больше простора ногам – и на сиденье рядом с ним плюхается господин средних лет, который, во-первых, совершенно пьян, а во-вторых, весит, вероятно, килограмм сто семьдесят – только среди американцев такие встречаются. Господин истекает потом, горячие бока его свисают далеко по краям сиденья. Понятно, что изменений к лучшему не предвидится, так будет до самой Москвы.

Он вылезает из-под горы жира и, не успев придумать, что скажет, протискивается к стюардессе и сообщает, что сосед его совершенно пьян и что это, с его точки зрения, создает угрозу: в случае бедствия поможет ли нетрезвый человек остальным пассажирам выбраться на крыло или куда там?

– Сэр, – спрашивает толстяка стюардесса, – не угодно ли быть пересаженным? Нет? – Она просит его говорить громче. – Нет? – Ну тогда она вызывает полицию, и господин полетит в Москву в это же время на этом же месте, но завтра.

Надо бы вмешаться: погодите, он ручается... Освободившись из-под туши, он яснее сообщает, что натворил, ему тоже приходилось употреблять алкоголь, в меньших, конечно, количествах, но, возможно, его сосед перед полетом волнуется, многие боятся летать. Никто в его сторону и головы не повернул, а толстяк, только услышав слово “полиция”, встает и плетется за стюардессой в конец салона.

Стыдновато. По-американски повел себя. Ладно, что сделано – то сделано, никто не умер.

На место пьяного толстяка садится женщина лет сорока пяти, свеженькая, в веснушках, их руки соприкасаются на подлокотнике, через рубашку он ощущает приятный холод. Вот и славно, он примет снотворное, сейчас им дадут вина – теперь-то уж он заснет и проспит до Москвы. Вина ему, однако, не достается.

– А в случае бедствия вы сумеете оказать пассажирам помощь? – напитки развозит уже знакомая ему стюардесса: не все американцы, стало быть, одобряют стукачество.

Посмотрим, подействует ли таблеточка с соком. Вполне бы подействовала, но – соседка. Допила свою диетическую пепси-колу, болтает льдом в стаканчике и говорит, говорит, говорит.

Она из Нью-Йорка, в Россию летит впервые, ей хочется больше знать о стране, пусть он ее просветит. Он в полусне произносит какие-то несурзности, но соседку не удержать. С России она переключается на Америку, потом на весь мир, наконец – на себя. Разговор в самолете со случайным попутчиком – популярный жанр. Вместо психоанализа, вместо исповеди. Она

недавно рассталась с возлюбленным: тот подкупал ее дорогими подарками – последней каплей стал “Ягуар”.

– Вам бы понравилось, если б женщина подарила вам “Ягуар”?

Надо подумать, надо подумать... Он прикрывает глаза, а она все журчит – об отвратительных привычках бывшего друга, о том, в какие тот водил ее рестораны, какие сигары курил.

О, он, кажется, знает, как положить предел ее красноречию.

– *A woman is only a woman*, – говорит он: с женщины – что возьмешь? – *but a good cigar is a smoke*, – а сигара – курение, кайф.

Но соседка спокойно кивает:

– Киплинг.

Ей известны эти стихи, она Принстон заканчивала, *creative writing*. Так вот, этот Киплинг автомобилю дарил, а ребенка ей сделать отказывался. Радикальный метод – стерилизация, распространенный в Америке способ, как избежать детей. Семьявыносящие протоки Киплингу перерезали, а теперь и она уже не сможет зачать.

Вот зачем она летит в Россию – девочку удочерить. Россия, Казахстан, Румыния – несколько мест, где можно найти еще белых детей. Он смотрит по-новому на попутчицу.

Она подает ему руку:

– Меня зовут Джин.

Он называет себя и видит, что лицо его новой знакомой немножко меняется. Полуулыбка – не то чтоб загадочная. Скажет – не скажет? Скажет, конечно, куда она денется? Нет, молчит.

– Ну, признавайтесь, кто? – собака? кот?

– Хомяка моего так звали, – признается Джин.

Какая милая! Оба хохочут.

Она рассказывает о процедуре удочерения – будет суд, показывает фотографию девочки, одиннадцать месяцев, в Москве ее ждет адвокат, они вместе поедут в Новосибирск, все предусмотрено – даже русская няня – зачем? – Девочка до сих пор слышала русскую речь, вот зачем.

Кое-что Джин не предусмотрела. Он заполняет для нее таможенные декларации, и тут выясняется, что больше десяти тысяч долларов провозить нельзя. Джин взяла с собой больше, вот так. Что ж, есть два выхода: либо спрятать деньги поглубже, либо часть передать ему. Он дождет ее у стеклянных дверей, багажа у него нет.

– Я вам, разумеется, верю... – произносит она задумчиво.

Следовательно, не верит, но деваться ей некуда. Он берет ее деньги: не бойтесь, Джин. Разговор сам собой прекращается. Обоим надо поспать.

Самолет подлетает к Твери, безоблачно, он пускает ее к окну: посмотрите, какая грусть. Сам он уже не с Джин. Вот он выйдет из самолета, на вопрос таможенников “что везете?” – махнет рукой: “Говно всякое”, – те улыбнутся, как смогут, – наш человек, иди. У стеклянных дверей он и Джин попрощаются – самолетные знакомства не предполагают развития, но обменяются телефонами, адресами. Он сядет в машину и снова подумает про отца. Автомобильные поездки почему-то дают это мимолетное чувство встречи. Выедет в город – агрессивный, людоедский в будни и такой – ничего, почти свой – в выходные, доберется до Манежной площади – когда отец был жив, движение по ней происходило в обе стороны, теперь в одну – он расскажет отцу и об этом.

Он действительно прилетает в Шереметьево, садится за руль, разворачивается, с силой бьется передним бампером о бетонную тумбу, она расположена как раз на такой высоте, чтоб ее не заметить. Твою мать! Здравствуй, Родина. Все заработанное на безногой старушке – псу под хвост. Он огорчается меньше, чем обычно от материальных потерь, хоть бампер расколот и жижа из-под капота капает на асфальт. Пробует пальцем – зеленая, радиатор. Двигатель греется, эх, не заклинил бы! В центре, на светофоре, глушит машину, закрывает глаза – это не

сон уже, почти обморок – и сзади что есть мочи гудят ему, объезжают. Не домой надо ехать – к механику.

Отличный механик и лишнего не берет, с него во всяком случае, и сразу понимает что к чему – институт заканчивал, поэтому. Ну, тут и так ясно. К нему механик снисходителен: интеллигент, дурачок, жизни не знает, и не надо ему ее знать. Сейчас чего-нибудь снимет с чужой машины, а пока что ворчит:

– Какашка французская, – про его “Рено”. – Шурик! – орет вдруг. – Шурик!

Здесь работают киргизы, не киргизы – эти, как их? – уйгуры, без регистрации, их тут зовут Шуриками, они, как и сам механик, как все здесь, безвылазно в мастерской.

Вопит какая-то дрянь по радио. Страшная, неправдоподобная грязь. Под ногами, везде – масло, тряпки, инструмент. Разобранные двигатели, снятые двери, подкрылки, крылья: насколько человек совершеннее автомобиля, особенно изнутри!

– Крыс нет? – он боится крыс.

– Нету, – успокаивает его механик, – нет крыс, но скоро появятся. Кот, который жил тут, на прошлой неделе сдох.

Где бы приткнуться? – неловко стоять у людей над душой – он забивается в дальний угол, устраивается на просиженное автомобильное кресло, механик матерится непрерывно, с изысками, вычурно, перекрикивая радио, так матерятся лишь выходцы из культурного слоя, он надевает наушники – Мендельсон, кусочек второго трио, у Мендельсона их два – и вдруг понимает, что счастлив.

Как остаться в этом состоянии? Он знает: в лучшем случае оно продлится несколько минут и уйдет, и удерживать его бесполезно, да и сама попытка удержать счастье уже означает ее неуспех.

Но оно – длится. Музыка? Может быть, дело в музыке?

Нет, музыка кончилась, а он все еще счастлив.

апрель 2010 г.

Камень, ножницы, бумага

Повесть

Время – наше, мирная жизнь. Городок в средней полосе России, в стороне от железной дороги, от большого шоссе. Есть река, есть храм.

В центре города – дом Ксении Николаевны Кныш. Дом одноэтажный, но большой. Пельменная возле дома тоже ее. Кныш – глава районного законодательного собрания. Ей пятьдесят семь лет.

Утро, вторник, седьмое марта. Ксения Николаевна на крыльце с Пахомовой, директором общеобразовательной школы. В руках у Пахомовой – поздравительный адрес, желтенькие цветы:

– Здоровья вам, Ксения Николаевна, счастья, благополучия! Многих лет вам на благо города!

Ксения кивает, войти не зовет. В папке – листочки.

– Опять попрошайничает, Пахомова?

– Ой, что вы! Писания соседа вашего, в компьютере были, в учительской. Но уж вы никому, Ксеничка Николаевна, народ у нас, сами знаете...

Ксения, сурово:

– Ознакомимся.

Улыбается все-таки: всех вас, весь ваш женский коллектив – с праздником! – и домой, читать. Сосед – враг. Молитесь за врагов ваших. Да молится она, молится, что ни день...

Мне сорок лет, и я хорошо себя чувствую, но после сорока смерть не считается уже безвременной, а потому пора мне собраться с силами и записать. Мысли неотвязные, недодуманные... Сорок лет. Слабеет вера в человека, а значит – и в Бога. Зачем все это, зачем? Будто сижу спиной к движению и смотрю в окно. А там – прошлое, только прошлое. Сорок лет – чем не повод разобраться с прошлым?

Я учитель русского языка и литературы, не женат и бездетен. Всю свою жизнь за вычетом той, что прошла в Калининском университете (неприятный, забытый сон), живу в нашем городе. Здесь красиво невеселой среднерусской красотой. Если не видеть сделанное человеком, очень красиво. Тут я, по-видимому, навсегда: тут родился, тут и умру – прежде, в юности, меня эта мысль угнетала, теперь нет. Живется мне, конечно, чуть одиноко, в особенности зимой, когда в пять уже совершенно темно, и сразу лишаешься того, без чего жизнь неполна, – реки, деревьев, соседских домов. Спиться мне не грозит, я не переношу алкоголя, а сочинять – пробовал, как всякий бы, наверное, в моем положении. Прочтут и обалдеют – таковы истоки моего “творчества”. Да и кто, собственно, обалдеет? Несколько учителей-мужчин – вся наша интеллигенция. Врачей и священника к интеллигенции не отнесешь, а женщины в школе у нас безликие и какие-то обремененные, по большей части замужем за мелким начальством. “Каков диаметр Земли? – спрашивает у ребят географ. – Не знаешь? Плохо. Земля – наша мать”. Эту шутку он повторяет лет двадцать, но никто, включая учителей, не потрудился узнать ответ: зачем? – мы никуда не ездим, Земля нам не кажется круглой. А географ скоро умрет от рака: тут всё про всех знают, особенно плохое.

“Отслужу в армии, отсижу срок...” – сказал недавно один деревенский мальчик мечтательно, мы обсуждали с ним будущее. Годы учения и странствий – так это называется? Вот мальчиков из моих первых выпусков почти что и нет в живых: наркотики, коммерция, боевые действия – я огорчился сперва, а теперь, страшно сказать, устал жалеть их, привык. Девочки – те в основном уцелели, каждый год по несколько моих выпускниц поступают в уни-

верситеты и академии – в Твери, Ярославле, даже в Москве. Девочкам и книжки интереснее, и сами они хотят нравиться: я человек нестарый и несемейный, мы устраиваем литературные вечера, дом у меня большой. Литературные четверги – так мы их называем, очень все целомудренно: чай, стихи, проза. Я люблю радоваться и радовать. И даже грустная, очень грустная история с Верочкой Жидковой меня не расхолодила.

У нас есть река, и нет железной дороги – на десятки километров кругом. Говорят, это мешает промышленности, но железная дорога – это ведь несвобода, зло. Как ее ненавидел Толстой и как любили большевики! Наш паровоз вперед летит, и все прочее. Тормозной путь полтора километра – шутка ли? Иное дело автомобиль. Эх, был бы он у меня! Водить-то – уж как-нибудь. Сел бы за руль и отправился в Пушкинские Горы, а то и в Болдино, побродил по святым местам, а там бы, глядишь, встретил учительницу, свободную, одинокую. Лежу иногда без сна, сочиняю свои диалоги с ней. Ребячество? – ну и пусть. “Как вам экскурсия?” – спрошу я ее, и она мне ответит не очень впопад, но так, чтоб я распознал цитату: “Затейливо”. Скоро признаюсь: “Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. – Может быть, не так в лоб, но что-то похожее. Она засмеется, словно бы не поверит. – Клянусь”. Учительница нахмурится: “Не клянитесь ни небом, ни землею”. А я закончу: “Ни веселым именем Пушкина”. Осмотрев достопримечательность, поедем ко мне – без разговоров и договоров. В машине сыграем в игру. “Песнь песней”, – скажу, а она ответит: “Сказка сказок”. Я продолжу: “Святая святых”, – “Сорок сороков”, – “Суета сует”, – “Конец концов”, – “Веки веков”, – и она подумает немножко и сдастся.

Мало ли в какую можно игру поиграть, да только машины у меня нет как нет. А будь я порасторопнее, продал бы половину своей земли (участок большой, на нем кроме сорняков почти ничего не растет), перестроил бы дом и на машину б хватило, и даже осталось бы. Земля у нас за последние годы подорожала раз в пятьдесят. Так что человек я весьма обеспеченный, только распорядиться богатством своим не могу. Если честно – не особенно и стремлюсь. Провинциальному учителю бедность к лицу – ведь так? Мне живется тепло. Опасно, грязно и пахнет, конечно, пахнет, не станем метафору продолжать.

У меня изумительные родители, у деревенского мальчика (отслужу-отсижу) таких нет. Грубая жизнь – с рождения, магазин ограбит, не оттого, что голоден, а из удали, или выпьет и подерется с кем-нибудь – как такого судить? А если однокласснику изнасилует? А если человека убьет? С какого момента ребенок начинает отвечать за свои поступки и начинает ли?

Одного мальчика лет шести, очень легко одетого, я подобрал перед Новым годом на автостанции: он пришел побираться – думаю, в первый раз, и еще не знал, как подступиться к этому. Взял я его на елку к дачникам, помыли мальчика, приодели, надавали разных вещей, отправился его провожать. “Наша квартира”, – показывает, а там комната такая, безо всего, только лампочка под потолком и кровать железная, а поверх, на куче тряпья, – голый дядька, грязный, пьяный, и запах. Я дядьку прикрыл, попытался что-то ему втолковать – про сына, мешки с вещами, про то, что порядок нужен, а он меня спрашивает: “Православный?” Я замялся – что за вопрос? – а дядька присел на кровати, качнулся так: “Русский?” – “Да, – отвечаю, – русский”. – “И зачем тебе – вещи, порядок? Мне вот, – говорит, – ни-че-го не надо”. Но почему? Он и сам как будто бы удивлен. А сына его я на следующий день опять встретил у автостанции. Не признал меня, рассказывает взахлеб: “Вчера в таком доме был! Во живут москвичи!.. Наворова-а-ли!”

То – дети. А взрослый народ и впрямь совершенно себя позабыл. Почти никто, например, не помнит телефонного кода нашего города – не даем мы свой номер никому за его пределами, не чувствуем себя частью целого. Будда, Сократ, Толстой, а вот я – житель такого-то городка, телефонный номер такой-то, – вот как должно быть устроено. В глубины народного сознания и прочее верят теперь только дачники, а местные телевизор смотрят. Не от

усталости, не потому, что тяжелая жизнь, она легкая, неголодная, а чтобы дырку заполнить, чем-то себя занять.

Вернемся к моей ситуации. Родители живы, оба на пенсии: папа преподавал английский, мама начальные классы вела, от меня внуков не дождались, переселились в Москву: там театры, выставки, там сестра моя живет младшая. Родители любят друг друга и нас с сестрой. Бунта против мира взрослых у меня никогда не было. Говорят, юность без бунта неполноценна – я так не думаю.

Итак, близкие живы, и в списке моих потерь Верочка – самая главная, по существу, единственная. Три года прошло, как не стало ее, а вспоминаю Верочку ежедневно, даже, может быть, ежедневно. Всегда – когда сталкиваюсь с живыми, умными девочками, а они среди моих учениц есть. Одна тут недавно спросила: “Раз запятые ставят по правилам, то, может, они вообще не нужны?” Отчего самому мне этот вопрос не пришел в голову? “Надо подумать, – говорю ей, – надо подумать”. Ради таких вот умненьких и работаю.

Чтобы покончить с дачниками: незадолго до Верочкиного отъезда сидели мы с ней на веранде и писали для моей выпускницы Полины вступительное сочинение в какой-то бессмысленный вуз. Академия сервиса, кажется: берут всех подряд, телефоны на экзаменах не отнимают, так что мы себе пили чаек и наперебой отправляли Полине текстовые сообщения. Тема досталась такая: “Духовный мир провинциальных дворян в романе «Евгений Онегин»”. Всему, что мы пишем, Полина, предполагалось, придаст развитие.

Пишем: “Этот мир представлен в романе со второй главы по начало седьмой. Онегин бежит сюда из мира большого, из Петербурга. Незатейливое простодушие деревенских соседей, – Он в том покое поселился, / Где деревенский старожил. . . Интересы: Их разговор благо-разумный / О сенокосе, о вине, / О псарне, о своей родне. Живущих в провинции отличают простота, непосредственность интересов, однообразный уклад, нелюбовь, а скорее привычка друг к другу. Неструктурированный день, много свободного времени: Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит. . . У людей с душой происходит расцвет иллюзорного мира: Вздыхает и, себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть. . . Главная особенность провинции – отсутствие настоящих жизненных впечатлений, особенно у женщин”. Так и написали: “особенность” – “особенно”, потому что спешили. “Еще?” – спрашиваем, – “Da, da, please!” – “Серьезное отношение к жизненным принципам: родись Татьяна в Петербурге, она не достигла бы той искренности ни при первом объяснении с Онегиным, ни при последующих. Строгость и простота здесь не те, что в столицах. Онегин живет по столичным законам, которые не подразумевают ни искренности, ни глубины. По небрежности убивает Ленского, делает несчастной Татьяну. Разумеется, в провинциальной жизни, как и в столичной, есть и чванство, и глупость, и шутовство, в откровенных, гротескных формах, так что не следует, – советуем мы Полине, – идеализировать ситуацию”. Она поблагодарила нас, пора уже было переписывать набело, а мы подумали с Верочкой: Онегин в деревне – это про наших дачников, разве нет?

Те, кто попроще, ходят в жару полуголыми, в Москве они так себя не ведут. Дачники покультурнее не хотят обижать никого, и все равно обижают. Питерские чуть отличаются: у них имена-отчества, у москвичей остались одни имена. Где-то в столицах диссертации защищают, книги издают, происходит что-то существенное, литераторы хлопают друг друга по физиономиям, а тут – нельзя же всерьез принимать эту милую, теплую, грязенькую жизнь. Несерьезная влюбленность, несерьезные правила поведения. Заглянут по дороге с реки ко мне, от меня – в пельменную: посидеть, потушить, как теперь выражаются. Лето закончится, и – до лучших времен: дайте знать, когда соберетесь к нам в Белокаменную.

Я и сам подвержен приступам страшной лени всех разновидностей – душевной, духовной, физической, – и быть учителем нравственности не хочу, мне бы со своим предметом управиться, а все-таки ужасную досаду вызывают иные воспоминания. Как бы не было тяжело жить монахом и как бы мало я не испытывал в своей жизни радостей женской любви, а с

появлением Верочки отказался и от того, что имел. Служить развлечением дачницам: сельский учитель словесности, энтузиаст, давайте-ка приблизим его к себе, что это он до сих пор неохваченный? – нет уж, с этим расстаться не жаль.

Про Верочку. Верочка хороша была до такой степени, что все мужчины, кроме последних пропойц, останавливались, оборачивались, а то и вслед ей шли. В жесте, в движении – рук, головы, плеч – никакой угловатости, неловкости, никогда. Училась она в моем классе лет с четырнадцати и до выпуска – я только старшие классы веду. “Зачем не с глаголами писать отдельно? Хоть вы объясните мне! – вот первое, что я услышал от Верочки. – Как удобно было бы — не хочу, не-люблю!” Поглядел я тогда внимательно на нее и подумал: вот она жертва классическая, или теперь подверстываю воспоминания к дальнейшему?

Верочка очень ко мне тянулась. Да и я любил Верочку. Конечно, любил, но сам же и обрывал ее, когда она пробовала объясниться, какая я пара ей? И ученица, и разница в возрасте, да и тянулась она, может быть, не ко мне, а к прозе с поэзией. “Это, Верочка, у тебя от чтения и лечится тоже – чтением”, – вот и все, что я мог ей сказать. Но приходит на чай ко мне она не переставала – все запросто: соседи, неструктурированный день.

Ксения, мать ее, ревновала Верочку, на родительские собрания отправляла отца – коммуниста Жидкова, так мы его называли, он уже с ними не жил. Был когда-то секретарем райкома, начальником, по здешним меркам, большим. Потом Ксения его бросила, стал болеть, пить, сделался серый какой-то, землистый весь, невозможно стало с ним разговаривать. Теперь, думаю, помер уже.

А какие Верочка сочинения писала по Достоевскому! Не без натяжек, конечно, но очень талантливые. Помню почти наизусть – про Порфирия, пристава следственных дел, глаза с жидким блеском, про то, что мы удивляемся, когда они оказываются людьми, про то, что Порфирий – единственный, у кого нету фамилии, а вот спас же Раскольников, он и Соня спасли его, справедливость и милосердие – два действия божества! А сочинение ее по “Грозе” – вообще самое интересное, что я об этой пьесе читал: про Катю Кабанову и Анну Каренину. И несостоятельных, слабых мужчин.

Каждый преподаватель литературы мечтает, чтобы его ученик стал настоящим филологом, вот и я посоветовал Верочке: поступи-ка ты на филфак. Думал – в Москву, но она выбрала Петербург, как я ни отговаривал Верочку, скука, холод и гранит, как ни просил перечитать того же Толстого. Дочка начальников, к тому же единственная, – не привыкла ни в чем получать отказ. В прежние времена из таких, как Верочка, образовывались, я думаю, эсерки, народоволки... Только смеялась в ответ, декламировала Ахматову: Но ни на что не променяем пышный, / Гранитный город славы и беды... – для Верочки Петербург обернулся только бедой.

Ксения филологию не одобряла, хотела Верочку сделать юристом: заработок, работа на фирме, замужество с иностранцем. Счастье – на обыкновенных путях, – знаем, слышали. Верочка, естественно, не обсуждала мать, повторяла лишь, что она — другая. Сразу в университет не пошла (не любила проигрывать), целый год готовилась: по литературе – конечно, со мной.

Подробностей ее гибели я не знаю и не желаю знать. Общежитие, квартиры, испорченные ленинградские мальчишки, жестокие, остроумные, с кем-то она расставалась, с кем-то сходилась. Питерское культурное подполье – злые ребята! Письма скоро пошли какие-то не ее, не Верочкины. Ехала в Петербург за высокой культурой, а в результате – университет бросила, и пошло: помощь обиженным, обездоленным. Идея возникла у Верочки – обращать несчастных людей к прекрасному: к музыке, живописи, красоте. Тех, кому уже некуда больше идти. Как могла она справиться? Среди них разные, по-видимому, типы есть – в основном отрицательные. Было, рассказывали, и насилие. Со стороны одного из ее подопечных. Говорили разное: приняла таблетки, яд, откуда у Верочки яд?

Я и на похоронах ее не был. Директриса наша, Пахомова, сделала так, чтобы я на них не успел: в область отправила на повышение квалификации. Жалела меня, вероятно, по-своему. Отец Александр отпевать Верочку не хотел, но Ксения с ним, разумеется, справилась. Никому не нужна была гибель Верочки, никому. Вот что: живым надо быть, а я был хорошим. Женился б на ней, а потом отпускал в Петербург, хоть куда.

– Женился бы он... Ишь, – усмехается Ксения, – женилку отрастил. Слабак. Тьфу. – Отрывается от чтения, руку трет.

На руке – темное пятно, поросшее волосами. От волнения пятно пульсирует, чешется. Закрывает его рукавом.

– Да, что тебе? – Исайкин, высокий, сутулый – муж. – Иди, давай, открывай, клиенты ждут.

Убогий. Автомагазин тоже ее. “Достойная резина для достойных людей” – вся работа Исайкина. Достойные свечи, масла. Выгнать бы к чертовой матери, но – венчались, нехорошо. Что Бог соединил... Бог и так ей должен. За дочь и за все.

Дочитать гада.

Раз уж я принялся говорить о Ксении, то надо отозваться и вообще про власть. Ее в нашем городе прихватили маленькие некрасивые люди. Нервные: не оттого, что нехороши собой, а оттого, что власть им досталась хищением. Но они приняты, приняты, а кто у нас в городе не был бы принят? Коммунист Жидков, теперь – Паша Цыцын, местное самоуправление, и каждый раз: может быть, этот дороги сделает?.. Паша, Ксения и судья всё и прибрали крукам. Ксения – духовный вождь, аятолла, очень набожна, Паша-дурачок – когда-то выборный, только давно у нас не проводят выборов, главу назначают теперь депутаты, а судья – он просто самый богатый, фамилия у него забавная – Рукосуев, половина земель вокруг города – рукосуевские, вот такая история. Но судья-то как раз, говорят, человек незлой. То ли дело Ксения: рассказывали, как она увольняет своих таджиков. Кажется, получает удовольствие от зла, как те подростки, что кошек мучают.

Школьная уборщица крадала деньги из наших пальто, мы избавились от нее, с огорчением: она своя, такая, как мы, но опустилась, крадет, а вот если Паша лазил бы по карманам, я бы, честное слово, хуже не относился к нему: Паша — другой. Хищение ли, выборы – велика ли разница, если власть всегда оказывается у других? Так-то так, да только другие непременно интересуются, что мы думаем. И про них, и вообще. Вот священник наш, младше меня лет на пять, его Александром Третьим зовут, до него еще два Александра было, рукоположен по правилам и служит, наверное, правильно, хотя ни одного слова не разберешь: Александр – не узурпатор, бояться его не следует. Да и я, учитель, тоже по мере сил стараюсь все делать правильно. Конечно, мне хочется уважения, но, проходя мимо класса, я не остановлюсь под дверью послушать, что обо мне говорят. А достанься мне мое место хищением, непременно слушал бы. И наши будут, если уже не слушают.

Но ведь в сущности – что мне начальство? Свет светит, вода течет. Не всегда, с перебоями, но течет. А как уж у них там устроено... Нет, это я все, чтоб отвлечься, не думать о Верочке... Чего я тогда испугался? Боялся ли совершить хищение, женюсь на ней? Вялые оправдания. Жизнь наша здесь, конечно, была бы немислима... Если себя не жалеть: испугался любви и сопряженных с любовью страданий. Хуже: хлопот. Уж если совсем не жалеть себя.

Ксения переворачивает последнюю страницу: чтоб ты сдох! Прости, Господи. Дочь отняли, страну развалили – вот и все, что вы сделали, умники.

Был социализм, и Ксения служила, как все – верила и не верила. Были страна, дочь. Идеалы были, чего-то боялись. Не стало социализма, распалась страна, другие появились ориентиры. Она все поняла правильно – крестилась и дочь крестила, помогла восстановить храм. По делам их узнаете их. И что? Погибла дочь. Ни дочери, ни страны. Вот награда. Понять невозможно.

Задолжал ей Господь Бог, крепко задолжал. Она-то свой долг знает. Дело делала и дальше будет. И не ждет гарантий. Сказала, что храм восстановит, – исполнила. Часовню обещала – и часовня будет. Кому обещала? Не важно. Городу, всем обещала, себе. Аятолла, во как.

План часовни согласован с Александром Третьим. Тот пожимал плечами: “И так в храме народ не собирается. Лучше купим колокола”. Снова ходила и снова, пока не застала сцену: сидит бабушка, ест капусту и кино смотрит по телевизору, а там – ругань, крики, пальба! Шутить пробовал: “Ох, люта смерть грешников!..” Поймала его виноватый взгляд. – Вот мы, значит, отец, по пятницам как смиряемся! Ездил с подарками – к благочинному, к архиерею. Бабушка у нее вот теперь где – сжимает кулак. Опять пятно зачесалось. Заботы, заботы.

Бабушка – мямля. Толком не может ответить ни на один вопрос. “Сила Моя в немощи совершается”, – и что, расслабиться и получать удовольствие? Какая же в немощи сила? Проще всего разговоры разговаривать. Не на таких, как он, еще что-то держится, и не на соседе-учителе, а на ней, на Ксении.

А часовню поставим за домом, вот тут. Теперь она точно знает, где часовне следует быть. Соседа подвинем. Он городу чужой человек. Стихи, проза. Разберемся, кто ему его прозу заказывает, и с заказчиками разберемся. Пахомова, интересно, читала? Да уж наверное. Черт, осторожней надо. Приходится со всякими уродами считаться. Паша еще этот, шибздик. Метр с кепкой, а гонору! “Сам глава администрации вам обещает”. Всё на ней, всё на Ксении: город, дом, бизнес. Сил нет тащить, а куда денешься? Долг. Крест.

Пельменная работает так. С мая по сентябрь – дачники, много, террасу открываем, с октября по апрель народец попроще, свои. Восточная еда – шурпа, манты, плов. Есть и постные блюда. Вот сейчас, Великим постом, пожалуйста, постное меню. Но основа всего – пельмени, с оптового рынка. Если с истекающим сроком годности, можно взять совсем дешево.

Постоянных работников два – кассир и повар, русские тетки, исайкинская родня, для всего остального – таджики. Они тоже – с истекающей годностью, одноразовые. Испытательный срок – три месяца. Если есть нарекания, собирай манатки и – давай, топай, ауфвидерзеен. Пока испытательный срок, не надо платить, зато жилье и питание, одному, когда он руку обжег, даже “скорую” вызывали. Летом таджиков больше требуется, а зимой – так, один-два. Таджики, между прочим, тоже бывают разные. Одна прижилась.

Роксана Ибрагимова, тридцать пять лет. Голос низкий: “Роксана по-вашему”, – больше от нее ничего и не слышали. Что за имя такое? Роксана, Оксана, Ксана – надо же, тетки почти. Худая, высокая, аккуратная, не такая, как все, совсем не такая. Длинные черные волосы. Очень красивая. Сказала ей: “Старайся, мужа себе найдешь. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок”. Сама засмеялась и тут же затихла: так эта Роксана глянула на нее. На мгновение зажгла огонек в глазах и тотчас же погасила.

Что значит этот огонек, поняла позже: парень, тоже нерусский, с бензоколонки, пиво пил на террасе, Роксана ему подавала. Попробовал протянуть руку, дотронуться до нее: “Дешка...” Как-то дернулась, и уж зажегся огонь так огонь, будьте-нате. Что-то вырвалось у нее, несколько звуков, горлом. Сник парень, пиво не допил, ушел. Стояла возле двери, все видела, тогда же решила: пускай работает, буду платить ей. Так что Роксана тут с августа, живет в подсобке, за кухней, в тепле. Пространства свободного метра четыре, да у нее и вещей почти нет.

Несет Роксане новые папки прозрачные – меню все захватанные, надо менять.

– Листочки переложить справишься?

Роксана поднимает глаза, чуть движет ресницами, молча. У нее всё – молча. Тогда еще, в августе, приходил какой-то, искал ее. Из москвичей. Сказал: русскому языку детей его учит. Ничего не придумал умней. Роксана не вышла к нему, правильно сделала.

А с листочками – справится, она со всем справится. Надо прибавить ей. Тянет ее к Роксане. Жаль, не поговоришь.

– С праздником тебя, Роксан очка, с женским днем!

Та не удивляется, не кивает, просто не реагирует никак.

Больница – администрация – суд. Все близко, пешком.

В больнице Жидков, ее бывший. Уже полгода тут. Дом не отапливается, некому приглядеть. А какие варианты – в интернат его оформлять? Да ему осталось-то... Летом, если дотянет, – домой.

Жидков опять начудил: пробрался ночью на сестринский пост, вызвал “скорую”: плохо мне, не могу дышать! А “скорая” тут же, внизу.

Выходит главврач, рот вытирает, они уже празднуют:

– Ксения Николаевна, хотите послушать? – Все разговоры на “скорой” записываются. Зачем ей слушать? Пошли к Жидкову. Все такое обшарпанное, когда ремонт будем делать, а?

Главврач остается сзади: “Я у себя, если что”. Жидков сидит в коридоре, желтый весь, высох. Давно не видела.

– Ну, живой? Сколько вешишь?

Килограмм пятьдесят, не больше того. Захватила ему поесть.

– А ты, Ксюха, все восемьдесят?

Да нет, семьдесят пять – семьдесят семь, в той же поре.

Жидков смотрит просяще, чего-то задумал. Жалко его, конечно. С другой стороны – всем когда-нибудь помирать.

– Заберешь меня?

К лету, ведь сказано.

– К лету... К лету я уже с Верочкой нашей буду. Хоть коммунистам и не положено в такие вещи...

Положено. Теперь всем – положено. Коммунист! Какую страну умудрились про... Вот только не надо сегодня про Верочку, хватит уже. Верочка его навещала, видите ли, книжки читала вслух. Хорошие, говорит Жидков, книжки, а какие – не помнит уже.

– Не лечат меня. Другим – капельницы...

По коридору идет медсестра. Ксения делает движение головой: “Пригласите лечащего врача”.

Молодой, новый какой-то, чистенький не по-нашему.

– Я уже все объяснил вашему мужу. Простите, бывшему вашему мужу. Нет, исключительно операция. Да, в Москву, мы на сердце не делаем операций. В области тоже не делают. Гарантий? Каких вы ждете гарантий? Конечно, риск есть. Скажем... десять процентов. А вероятность умереть от болезни – сто. Понимаете?

Ишь ты, какой говорок. Спокойно:

– Областные специалисты имеют другое мнение. Да и какая операция в его возрасте? – Жидкову: – Выписку принеси.

Жидков толком идти не может, два шага – и задыхается. Ксения обгоняет его, заходит в палату, двухместную, на соседней с Жидковым койке – гниющий старик. Не могли дать отдельную? Все-таки – второй секретарь, не колхозник задрипанный, надо прошлое уважать. Роемся в тумбочке, жуткий смрад, это не от старика: остатки пельменей, которые послала. Жидков наконец доплелся:

– Ксюха, пасеку у меня купи, а?

Пошел ты со своей пасекой! Ага, вот: “лечение по месту жительства”. Врач кривится: кто эту чушь написал? Они там не разбираются... А ты, значит, разбираешься? Чего-то он снова принимается толковать. Она не вникает, не слушает. Вдруг включается:

– ... С операцией он может сколько угодно прожить. Мы его уговорили, почти. А вы должны быть не частью проблемы, а частью ее решения.

Это уж слишком! К главврачу: так, чтобы каждый день капельницы, дважды в день. Под его ответственность. Под личный контроль. Говнюка этого к Жидкову не подпускать. Ваших женщин – с праздником.

– И вас с наступающим, Ксения Николаевна, здоровья вам!

– Павел Андреевич на месте?

– На месте он, на месте, для вас, Ксения Николаевна, всегда на месте.

Что за глупая улыбка? А потому что – знает.

Пять лет назад она пришла к Паше, только вступившему в должность, – его и привела сюда Ксения – простой парень, главное, что из местных (из местных плюс дед воевал, Паша – внук солдата, вот и все его козыри), – поздравить, пожелать многих лет работы на благо города. Поговорили о том о сем, и вдруг – стал толкать ее в заднюю комнату: “Посмотрим кино про меня?” – Какое еще кино? – “Увидишь, Ксения Николаевна, интересное”.

В комнатке диван, занавешены окна. Паша навалился сзади, как учили товарищи: женщины любят силу. “Ты что творишь, Паша?” – “Ухаживаю”. – “Сдурел на радостях, да? Я ж почти бабушка. Девки в городе перевелись?” Паша чуть отодвинулся, покрутил головой: “Мне теперь статус нужен”. Опять принялся за нее. Ладно, будет тебе статус, сокол. Минуточку, отвернись. Паша – выпускник летного училища, низенький, шеи нет, голова большая, а остальное все – маленькое-маленькое. Смех и грех. Любовь длилась сорок секунд и с тех пор не обновлялась, но городу известно: Ксения с Пашей – любовники.

Паша подписывает открытки к Восьмому марта, не лень? – существует же ксерокс. Нет, все сам, трудоголик.

– Не бережешь себя, Паландреич.

С чем, спрашивает, пришла? – Да так, пошептаться надо.

Паша принимает государственный вид:

– Что же, давай, Ксения Николаевна, порешаем вопросы.

Она излагает: часовня, вот планы, дело за малым – земля. С духовной властью все согласовано: часовня нужна. А у нее сосед на пятнадцати сотках жирует, практически в центре города.

– Он ничего вроде, – заявляет Паша. – Кристика моя у него. Живет, говорит, как эта, как птичка.

Ага, как птичка. Небесная. Хорошо себя чувствует.

Паша ужасно вдруг напрягается:

– Как там... программа: духовное возрождение, славянская письменность...

С каких пор мы стали интересоваться письменностью, Павел? Муниципальное жилье дадим твоей птичке, тем более если программа. До Паши доходит, как до жирафа. “Дома горят, ты ведь работал пожарником!” – хочется крикнуть Ксении Николаевне, но о таких вещах даже с ним нельзя.

– Я думала, ты мужчина. Ты же на той неделе мне обещал!

– Извини меня, Ксения Николаевна, та неделя – это *та* неделя, а эта неделя – это *эта* неделя.

– Где ты набрался такого?

Он это слышал от областного начальника. Ну да, Паша теперь постоянно бывает в области. Край какой-то. Тупик. Паша хоть знает, что такое часовня? Бурчит:

– Не вижу, этой, логистики.

Лучше боулинг, считает Паша. Боулинг будет более востребован.

– Какой еще боулинг? Ты ведь, Паша, государственный человек.

– Государство, Ксения Николаевна, – понятие относительное.

Сидит, надулся. За жирафа обиделся? Да тебе любое сравнение с жирафом... Вдруг – озарение:

– У учителя знаешь какие дела творятся? – вдохновенно рассказывает. – Почтирикает, почтирикает птичка да и нагадит. Прямо позади ее дома – гнездо разврата свила. За дочь не страшно?.. – еще говорит и еще, платок достает, подносит к глазам. – Хочешь, чтобы она?.. Чтоб – и она?

Паша задумывается.

– Ладно, разберемся с этим чмо, – давно бы так! – Разрулим ситуацию. Будет часовня, готовь решение! Давай по маленькой, Ксения Николаевна, с наступающим праздником, здоровья тебе, сил, любви!

Офицеры пьют стоя. Господи, блин, достал.

Суд – больше для радости, чем для дела. Егор Саввич, судья, – веселый, петь любит и служит хорошо, музыкально: плавно, без пауз ведет процесс. Сдавать стал немножко в последнее время, облез, в область ездит обследоваться. “Атрофические изменения головного мозга” – он показал ей результаты последней своей консультации. Она смеется: “Не рассказывай никому. Адвокатам – в первую очередь”.

Если о чем и жалела в жизни, то вот – что не стала судьей. Каждый раз мурашки по коже, когда приговор: все стоят, судья зачитывает, хорошо. Сам только что напечатал, и – вжик – три, пять, десять лет.

Сегодня судят двух ее бывших таджиков. Уволила еще в сентябре, чего-то строят теперь, верней – строили. Преступная нация, исключения лишь подтверждают правило.

Утро было пасмурное, а тут и солнышко. Пока шла до суда, развеселилась совсем, Пашин коньяк подействовал. А вот и они, красавцы, возле задней двери. Неудобно, небось, держать сигарету двумя руками? Похудели вы без Ксении Николаевны, осунулись. Ничего, на казенном поправитесь.

Выходит Егор, уже облачился:

– Начинаем процесс. – Здесь по-домашнему. – Давайте, ребята, айн-цвай, в зал. – Все у него “ребята”. Эти, похоже, толком не знают русского. – Ты тоже, Ксения Николаевна, заходи.

Как обычно, она направляется в заднюю комнату, дверь туда приоткрыта, все видно и слышно. Адвокаты, оба по пятьдесят первой, обеспечивают право на защиту, прокурор, секретарь – кажется, все собрались.

“Встать, суд идет. Прошу садиться”, – никто и двинуться не успел. Отцу Александру бы поучиться, любую службу развозит на два часа. Номер дела, статья, имена подсудимых – не выговоришь, государственное обвинение поддерживает младший советник юстиции такой-то, отводов, ходатайств нет. Статья Конституции подсудимым разъяснена. Обвинительное заключение. Прокурору: сидя давай.

На автостанции эти двое отобрали у мальчишки, местного, телефон. Мальчишек, насколько известно, обчистили нескольких, и телефонов забрали несколько, но заявление в милицию получили только от одного, да и таджиков было не двое, а трое, один сбежал. В жизни иначе все, чем в суде, менее стройно, тем ей и нравится суд. Никому не нужны ни лишний таджик, ни лишние телефоны, ни потерпевшие, которых в процесс не вытащишь.

Егор мелко кивает – будто в такт какой-то внутренней музыке. От адвокатов только и слышно: “Встань”, “Отвечай суду”. Первый таджик с обвинением согласен полностью, второй – частично. Первый – да, побои наносил потерпевшему он, и в карманах шарил у него тоже он.

– Чем шарил, руками? – спрашивает прокурор.

Чем еще можно шарить? Понимает ли обвиняемый, о чем его спрашивают? Ксения прикидывает его возраст. Школу не надо прогуливать. Какая была страна!

Второй таджик говорит по-русски уверенней:

– Мы сидели с Виталиком, “Роллтон” кушали.

– Супы быстрого приготовления “Роллтон”, – перебивает Егор. – Рекламная пауза! – Поворачивается к двери, за которой, он знает, находится Ксения.

– Тебя не за это судят, – вмешивается адвокат. – Бил потерпевшего? Угрожал ему? Телефон кто вытаскивал?

– Про телефон сказать не могу. Находился в состоянии алкогольного опьянения. – Адвокат машет рукой: мол, и черт с тобой, и сиди.

Допрос свидетеля занимает еще полторы минуты, прения сторон – две. Суд удаляется на совещание. Попробуем угадать:

– Год и три? То есть, наоборот, три и год?

Егор кивает: точно, она всегда угадывает.

Ксения проходит в зал. Центральный момент.

– Именем... – бум! молотком, всё! – Увести осужденных!

Егор хороший судья: отмен у него не бывает. Мантию в шкаф, а оттуда гитару и еще – рюмки и коньячок.

– Не дай себе засохнуть, Ксюша! Лимончик порежь, огурчики вот, маслинки, рыбку.

Второй день поста, эх, будет что рассказать на исповеди.

– С праздничком тебя, с женским днем! Гостуемый пьет до дна.

В глазах его слезы, быстро хмельеть стал. В прежние, еще советские, времена они, как говорится, *встречались*. Ксения забегала после работы, они запирали дверь, Егор обнимал ее и ласково спрашивал: “Угадай, Ксюша, кого сейчас будут *иметь*?” Как молоды мы были... Он и теперь пробует обнять Ксению, она мягко высвобождается.

– А может, у меня этот, сексуальный всплеск?

Уж какой там всплеск. По-настоящему Егор всю свою жизнь любил одну женщину – Пугачеву Аллу Борисовну. “За эту бабу, – говорил он, – я невинного человека убить готов”. И в Ксюше особенно ценит голос.

– Споем?

– Не гони, – просит Ксения. – Позже споем.

Егор откидывается на спинку дивана, жмурится:

– Давай тогда про божественное... Я люблю... Что у вас там за число зверя?

Поздно до нашего города добираются новости. Она принимается объяснять: штрих-код, три шестерки, как на этой бутылке – ясно тебе? Так на любом изделии.

– Да зачем они нужны, будем говорить, три шестерки? Чего-то я не пойму. – Егор забирает бутылку, собирается наливать.

Она не может точно сказать.

– Вроде для этой, синхронизации...

– Ха-ха-ха, – смеется судья. – Для синхронизации у нас “Три семерки”! Портвешок. Поняла?

Егор веселый, и с ним тепло, весело. А чего не веселиться? Деньги есть, дело делает нужное, интересное. Зря она не стала юристом. Верочку вот надеялась в люди вывести... Вспоминает утро, мрачнеет. Надо Егору рассказать про учителя: в городе, в их с Егором городе, чужой человек.

– Егор, ты Верочку мою помнишь? Кто ее сбил с пути – представление имеешь?

Тому весело – удачная вышла шутка про портвешок:

– Учитель, что ли? Ладно тебе, с какого пути? Сама говорила: ничего у них не было.

– Именно что учитель. Вот и учил бы. А то – литературные четверги, стихи, проза...
– Ксюш, да при чем тут?.. Верочка ведь, ты извини, всегда была у тебя какая-то не такая. Ладно бы только папашу своего недоделанного жалела. Так всех ведь подряд несчастеньких. Помнишь, бомжа с улицы притащила?

– Нашел, что вспомнить, это Верочка еще ребенком была.

– А учителя брось. Скучно тебе, ты и маешься. Успокойся, Ксюш. Перемелется, время лечит.

– Теперь меня послушай, Егор. Чужой человек у нас в городе. Враг – не враг, но вообще-то враг. Или кто-то использует ситуацию. Бумаги пишет твой учитель, будьте-нате. Хочешь, дам почитать?

Егор отмахивается: мало у него разве своих бумаг?

– Земля им твоя приглянулась, – как бы вскользь, между прочим, произносит Ксения, тоже искусство – так вот сказать.

Егор умеет быть и серьезным:

– Земля?! Кому?!

– Кому-кому... Чужие люди пришли в наш дом, Егорушка. Чужие люди!

– Всякий, кто замахивается на нашу... на эту... короче, ты поняла, государственность, получит по заслугам! – По журнальному столику – хрясь! – Мы с тобой, наши, будем говорить, отцы, деды землю эту отстаивали. От немцев! От французов! – Думает: – От поляков.

Красный весь стал Егор, особенно лысина.

– Егорушка, ты-то меня поддержишь?

Можно было бы и не спрашивать.

Во-о-от, поделилась, и легче стало. Жестом показывает: гитару бери, теперь будем петь. Она поднимает руку, распускает пучок. Волосы у нее каштановые, длинные. Еще одну рюмочку.

– Спой эту... “Куда они там все запропастились...”

Ксения улыбается: ей известна Егорова слабость. Проигрыш – и... *Уж сколько их упало в эту бездну, разверстную вдали!* Голос высокий, чистый – как хорошо!

Допели, судья гладит струны, грустит. Он тоже о смерти стал размышлять. Растерян: две птички желтенькие утром сегодня в дом залетели. Плохая примета, к покойнику. Ксения его успокаивает:

– Желтенькие? Это ничего, к деньгам.

Ксения верующая, ей легче. А его в церковь не тянет, нет:

– Нас как воспитывали? Что после смерти нет ничего. А теперь – первые лица даже... Стоят со свечками, крестятся. Ну, поклоны не бьют, не хватало еще... Но ты вот, допустим, о чем Бога просишь?

Не под коньячок разговоры такие. О чем положено, о том и просит. О чем святые старцы просили...

– А, предположим, точно вот было бы, что Бог есть. Чего попросишь?

Она размышляет:

– Верочку не вернешь, страну тоже... Чтоб мне годиков двадцать – тридцать скинул, наверное. – Улыбается. – Э-эх... Давай, за все хорошее.

Засиделись. На улице уже, наверное, совсем темно.

– Смотри, – Рукосуев лезет в портфель за листочком. – Стих. Козырный. Дя, *веемы смертны, хоть не по нутру / Мне эта истина, страшной которой нету, / Но в час положенный и я, как все, умру...* Пронзительно. О главном. – Неохота за очками вставать, да он и так помнит. – *Жизнь только миг, небытие навеки. / Та-та-та-та-там, что-то там такой, / Живут и исчезают человеки.* Как в воду глядел мужик.

Заморочил он ей голову. Чьи стихи? Его?

– Нет, не угадаешь. Андропов это. Юрий Владимирович. Вот так вот. Лучше любых там... *Но сущее, рожденное во мгле, / Неистребимо на пути к рассвету, / Иные поколения на Земле / Несут все дальние жизни эстафету.*

Иные поколения, фу ты.

– У тебя, Егор, дети, внуки, все правильно. – Плачет, захмелела совсем. Вся в слезах. Так всегда, если выпить в пост.

Стук. Ксения утирает слезы. Это еще что за явление Христа народу? Исайкин! С него капает пот, он задыхается:

– Уже знаешь?

– Что – знаю?! Кто тебя пустил сюда? Ну-ка!

ЧП. Убийство. Паша Цыцын убит. Только что. Не где-нибудь – у нее в пельменной!

Теракт! Почему сразу не известили? – Он и сам только узнал. – Дурак! Ты там был? Исайкин, а ты не пьяный? Ладно, беги вперед, догоним, или нет, подожди! Рукосуев куда-то уже звонит. Пошли, пошли! Путь оказывается длинным: Егор не то что бежать, не может быстро идти. Пыхтит:

– А ты говорила, птички к деньгам.

Видели они теракты по телевизору: взрывы, фрагменты тел, но возле пельменной совсем, можно сказать, спокойно. Народ тихий, по вечерам дома сидит. “Скорая” вон отъехала. В пельменной – милиционеры и прокурор, не смотрят на Ксению. Где убили? На кухне? Что Паша делал на кухне? Ага, вот и кровь. Ужас какой! Чем его? А, ножом. Накурили-то, накурили! Мужчины, курите на улице, – надо взять ситуацию под контроль.

А Роксана где? Где Роксана? Начальник милиции, толстый полковник:

– Кто? Ибрагимова? В камере временного задержания, где еще? Завтра – в область.

Что-о? Это – ОНА? Господи! – Ксения принимается причитать и сразу перестает. Ясно теперь. Паша за девочкой поухаживал. А Роксана-то! Взять и решить вопрос – вот это да-а, поступок!

– Егорушка, какая область, зачем в область? Сто пятая, часть первая, ее ты судить должен.

– А чучмеки твои, Ксюш, сегодня ударно потрудились, – размышляет судья. – Глава местного самоуправления, не кролик. Пресса, то-сё. Охота искать приключений? Мне нет. – Ага, зевни мне еще! – Тут, будем говорить, сто пятая, часть вторая. – Начинает вспоминать кодекс: – С особой жестокостью – раз. На почве национальной ненависти – кто его знает? – два. Теперь с этим строго.

– Скажи еще: при выполнении долга, – злится Ксения.

– Часть вторая, в область. От восьми до двадцати... Ну, двадцать не двадцать, а на десятку потянет.

Нервы у Ксении Николаевны не железные:

– Извини меня, Егорушка, но за Пашу, извини меня, да? за Пашу Цыцына, за эту, прости меня, шелупонь – десять ЛЕТ?! Побойся Бога, Егорушка! Я тебе завтра сто таких паш найду. Вы с ним друзья, конечно, были, но, извини, у нашего Паши где совесть была, там, как говорится, хрен вырос! – Менту: – Дай сюда, что ты написал, дознаватель херов! Не мешай, Егор! Что за ссора на фоне внезапшн... Тьфу, урод! Внезапно возникших неприязненных отношений?! Пиши давай, при попытке изнасилования... – Трет руку, она пульсирует так, что, кажется, кожа лопнет, не выдержит. – Где ее подпись? Нету! Всё, филькина грамота! Засунь себе в...

– Извините, Ксения Николаевна, – обижается милиционер. – Вы, так сказать, уважаемая личность...

От ее истерики Егор приходит в чувство, снова берется за телефон:

– Плохо человеку! – кричит он. – Да нет, да при чем тут... Давай сюда опять свою, блядь, медицину!

Неприятно, конечно, стресс. Кругом все в Пашиной крови. Ксения почти отключается. В чем-то все же она слабее мужчин. Ее тащат к двери, поливают водой, вату какую-то нюхать дают. “По нашей практике, – рассуждает Егор, – чтобы в первый раз и – за нож, это редко. Ну, топором там... а ножом трудно убить человека. Вызывает определенное... Ты свинью резал?” Еще голоса: “А красивый бабец?” – “Да чего там красивого, чурка и чурка”. – “Паландреич-то думал, Бога за яйца держит, брали в область”. – “Ага, ногами вперед...”

– Ну, в общем. Дозалупался Паша, – подытоживает судья. – Родственникам сообщили?

Всё, она в порядке. Следственные действия в пельменной завершены, можно мыть. Тетки сделают. Егор отводит ее домой: еще по сто, за помин души? – Да, а теперь оставь меня. Исайкин, ты тоже – не суети.

Ксения не засыпает, а как-то проваливается. Минут через сорок сознание к ней вдруг возвращается, она вскакивает, хватается громадную сумку и швыряет в нее из холодильника яблоки, йогурты, колбасу. Отворяет дверь в Верочкину комнату, Ксения редко заходит сюда, распакивает шкаф и сваливает в сумку платья, ботинки, даже белье, большой ошибки с размером не будет. Господи, да что же такое? Только привяжешься к человеку...

Ксения добирается до милиции. Полковник у себя? Где ему быть, события-то, Ксения Николаевна, какие! Конечно, он пустит ее, как отказать такой женщине?

– Тэк-с, посмотрим сперва в глазок. – Дает посмотреть и Ксении. – Спит наша злодейка, просто удивительно.

В камере она одна. И вправду – спит. Лежит на спине, дышит размеренно, неглубоко и во сне кажется еще прекраснее.

Когда *этот* отвалился от нее и наконец затих, она дождалась, пока уймется ярость, отдышалась и пошла смывать с себя все под раковиной – в уборную, где мылась всегда. Возможно, уничтожить следы соприкосновения с насильником не следовало, об этом она тоже подумала, но подавить в себе желание помыться не смогла. Сложила в пакет порванные чулки и халат, туда же сунула обернутый в газету нож. Затем надела единственное свое платье, пальто, повязала косынку, взяла из подсобки несколько книг – все ее вещи, заперла дверь и отправилась в отделение милиции. Да, еще перед уходом всюду погасила свет. Ее хладнокровие позже послужит доказательством того, что она либо выдумала знаки внимания, оказанного ей жертвой, либо преувеличила их значение.

В отделении она сообщает дежурному, что около часа назад при попытке изнасилования ею был убит мужчина средних лет, предъявляет содержимое пакета, передает ключ от пельменной.

Она смотрит за тем, как в отделении возникает переполох, как с лестницы сбегает милиционер, как по направлению к пельменной отъезжает автомобиль. Саму ее отводят на второй этаж и усаживают на стул. Напротив, через стол, садится молодой милиционер. Он настроен миролюбиво:

– Можете пригласить своего адвоката.

Адвоката у нее пока нет. – Это шутка. Он пошутил.

Ибрагимова Рухшона Ибрагимовна, 1971 года рождения, гражданка Таджикистана. Место рождения – Ленинабад, ныне Худжанд. Образование – высшее.

Милиционер отрывается от протокола. Да, высшее, филологический факультет МГУ. Милиционер сильно, по-видимому, удивлен: у него самого, вероятно, не больше двух лет заочного юридического.

Статью пятьдесят первую Конституции она знает: “Никто не обязан свидетельствовать против себя самого и так далее”.

– Привлекались?

– Нет, в первый раз.

Откуда же?.. – Она пожимает плечами: читала. – Конституцию? Ну и ну.

Он просит ее изложить обстоятельства дела. Тон его – благожелательный. Если все так, как она указывает в заявлении, то он снимет с нее показания и – под подписку – выпустит.

Видела ли она мужчину раньше? – Да, видела, он ненадолго заходил к хозяйке. Имени его не знает. Сегодня пришел около шести часов вечера, спросил Ксению Николаевну. Не застав ее, купил кружку пива. В пельменной, кроме них, никого не было. Попил пива и предложил ей... физическую близость, получил отказ. Да, резкий, но по форме не оскорбительный, почти бессловесный.

– А то бывает такой отказ, – объясняет милиционер, – когда вроде отказ... а потом... Короче... Женщины любят силу.

Она на него внимательно смотрит. Она любит силу, но тут была не сила. Милиционер ее, кажется, не вполне понял:

– Это лирика. Дальше давайте, дальше.

Когда мужчина встал и направился к ней, перешла на кухню. Зачем? Это было инстинктивным, а не продуманным решением. Где лежал нож, помнит, сколько нанесла ударов и куда – нет. Хотела ли убить? Хотела, чтобы его не стало, каким угодно образом.

Еще вопрос: почему она не работает по специальности? Она не видит, как это относится к делу. Хорошо, а раньше работала? В университете в Худжанде, недолго, преподавала русскую литературу.

– Да кому она там нужна? – недоумевает милиционер. – Там же одни, эти... – он хотел сказать: черные.

Не нужна, она совершенно согласна с ним. Вообще не нужна.

Еще где работала? В Москве, с детьми из богатых семейств, по русскому, литературе, английскому. Если считать это работой по специальности. Почему перешла на неквалифицированную работу? На это имелись свои причины.

– Хотела жить, как братья по крови?

– Именно, – отвечает подследственная. – Как братья. И сестры.

– Сёстры, – поправляет милиционер. Эх, филфак.

Быстрым шагом входит дежурный, зовет милиционера в коридор. Тот возвращается через минуту. Дело оказывается непростым. Знает ли она, что убитый является Павлом Андреевичем Цыцыным, главой местного самоуправления? – Нет, но, с ее точки зрения, это ничего не меняет, он обыкновенный насильник. Случившееся было не убийством, а самообороной.

– Эффективная самооборона, – усмехается милиционер. Шесть ножевых: в живот, в лицо, в пах, а на ней – ни царапины.

Сожалеет ли она о содеянном? – Бессмысленный вопрос, у нее не было выхода. На кухне события развивались сами собой.

– А полюбовно договориться не могла? – милиционер внезапно меняет тон и пристально смотрит в глаза подследственной. Так, он видел, проводят допрос старшие его товарищи.

Глаза у нее черные, у них у всех такие, и смотрит она ими куда-то внутрь, ничего не поймешь. Отдернет шторку, оттуда полыхнет, как из зажигалки, если открыть на полную, потом задернет – и погасло пламя. Молодому милиционеру на мгновение становится не по себе. Всё, только не надо нервничать. Оформить протокол – и бегом в пельменную. Голова от них кругом идет, пусть в области разбираются. “На поч-ве вне-зап-но воз-ник-ших не-при-яз-нен-ных от-но-ше-ний...” – выводит он. Язык от усердия высунул. Произносит скороговоркой:

– С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний не имею.

Нет, этого она подписывать не будет:

– Орфографию поправить? Шутка.

Ее приводят в камеру, запирают, она оглядывается, соображает, в какой стороне Мекка, и ждет, когда внутри установится тишина. Потом совершает поклоны, беззвучно молится.

– Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного...

Что означают сегодняшние события? Нужно вчувствоваться, подождать, и ответ придет, как всегда, целиком. Или не придет, молчание внутри нее может продолжаться годами. В любом случае – покорно принять Его волю, быть благодарной за всё. Пока что она ощущает лишь физическую усталость и недоумение – почему именно ей выпало положить предел безобразию? И – гордость, что справилась, взяла верх.

Всевышний дал ей выносливость, волю, необыкновенную память. Еще одно свойство – идти навстречу опасности. С детства отмечали: Рухшона, если ее испугать, не отшатнется, наоборот – вперед дернется, на тебя. Очень оберегала собственное пространство, и когда вторгались в него, могла нанести повреждения. Оттого и дети, и многие взрослые сторонились ее. А еще Всевышний наделил ее красотой, как ту, от кого она получила имя – Рухшону-Роксану, жену Александра Македонского. Тридцать пять лет, для таджички возраст немолодой, но Рухшона очень красива.

Школа русская, Рухшона пишет замечательные сочинения, золотая медаль. “Ставрогин – русский Гамлет, те же ярость и скука и масса нерастратченных сил” – это нравится, ее берут на филфак МГУ. Тут она тоже живет в стороне ото всех, открывает для себя Андрея Платонова: мечты о прекрасном и яростном мире, растроганная радость при виде паровоза, преодоление смерти с помощью механизмов. Диплом у нее – по Платонову, о замках из воздуха. В русских людях и языке, ей родном, она особенно ценит способность возводить конструкции из пустоты.

Большие перемены: Ленинабад стал Худжандом, остальное все плохо. Погибает отец – случайно, отправился по делам в Душанбе и не вернулся – приехать на его похороны невозможно, в Москву звонит брат, рассказывает о других смертях. Многочисленность жертв как будто примиряет его с гибелью отца. “Оставайся в Москве!” – кричит брат, телефонная связь с Таджикистаном ужасная. Что ей делать в Москве? Здесь тоже филологи не нужны. “Потеряла отца в процессе жизни”, – думает Рухшона и понимает, что больше не любит Платонова, что преодоление смерти с помощью паровозов и прочей техники – только словесный фокус, потому что повсеместное присутствие смерти не случайно, она – не досадное недоразумение. Все боятся ее, боятся несчастья, а смерть неизбежна и, значит, естественна. И не нами изобретена. С этого момента начинается переживание Рухшоной смерти как самого главного, что находится у человека внутри. Люди, которые не носят в себе смерти, не живут ею, Рухшоной ощущаются как пустые – обертки, фантики. Люди полые, без души – она узнаёт их с первого взгляда.

Короткое воодушевление переменами проходит мимо нее: Рухшона видит, что духовно перемены эти бессодержательны и что всем распоряжаются фантики. На главной библиотеке страны появляется огромная шоколадка: съешь ее – и порядок. Шоколадки и их изображения – главный результат правления полых людей. *Всем нам хочется сладкого, вкусного.* “Сладко будет у тебя во рту, матушка, а дети твои станут лакеями”, – думает Рухшона и покидает Москву.

Кружным путем она приезжает в Худжанд, знающая русскую литературу, как никто, кажется, из ее соотечественников. Можно устроиться в пединститут, теперь он – университет, но там не платят, нигде не платят вообще, и частные уроки ее не нужны – война. За девяносто второй, прошлый, год сто тысяч убитыми, не до изящной словесности, противники зовутся “вовчиками” и “юрчиками”. Мама объясняет: юрчики – коммунисты, по имени, представь себе, Юрия Андропова, – кулябцы и мы, северные, с нами узбеки и русские. А вовчики – памирцы,

гармцы под предводительством демократов. – Демократов? Почему они вовчики? Логичнее вроде бы именно коммунистам называться вовчиками, не так ли? – Нет, ваххабиты – по-простому вовчики. – Какая неразбериха в маминой голове! “Мужа тебе не нашли”, – вот что ее беспокоит: Рухшоне уже двадцать два.

Искать жениха – дело отца или брата, но отца теперь нет, а брат того гляди переедет в Китай, у него собственная семья. Да и как найти Македонского, когда кругом только юрчики-вовчики?

Вскоре, впрочем, и вовчиков не останется, во всяком случае – на поверхности. Симпатии Рухшоны, раз уж приходится выбирать, на их стороне: и потому, что вовчики разгромлены вероломно – *Блаженны падишие в сражение*, и потому, что в Худжанде их нет. Рухшона принимается что-то искать для себя – в религии, которая как бы ей врождена, но о которой прежде она не задумывалась, ездит в Гарм, в Самарканд. Она учит арабский, дело идет легко, но встречи с живыми людьми, зовущими себя мусульманами, разочаровывают: племенное в них преобладает над духовным, адат – обычное право, закон человеческий над законом божественным, шариатом. Жить надо по предписанному, по правилам, которые установил Всевышний, не по традиции, греховное и преступное – это одно, – вот что ей хочется заявить, но джихад освободил вовчиков от закона, да и кто станет слушать женщину?

Им с мамой немножко посылает брат, но – голодно. Рухшона презирует экономическую эмиграцию, но когда твоей матери нечего есть, это уже не экономическая эмиграция. Снова Москва, теперь без очарований и больших надежд. Застывание, усталость – на десять лет, довольно, надо сказать, сытых лет. Ее пристраивают в семьи – заниматься с туповатыми детьми, два-три-четыре года – и новые люди, не хорошие и не плохие, обычные, никакие. Она остается наедине с собой, только пока дети в школе, да и то – их матери не работают, хлопочут целыми днями и занимают свою Роксаночку. Она даже арабский забросила – апатичные, вялые годы, но для чего-то они, стало быть, были нужны.

Последние ее хозяева: муж – маленький улыбчивый крепыш и его жена – чем-то испуганная навеки, просит даже не упоминать о болезнях, смертях и других неприятностях – чтобы не заразиться. Постоянно работает телевизор: “Для красивых и сильных волос и здоровых ногтей...” *Я лишился и чаши на пире отцов, и веселья и чести своей*, – хочется продолжить Рухшоне, но ни в ком, конечно, она не встретит сочувствия. Память Рухшоны все еще хранит русские стихи во множестве – для чего? Поэты, их сочинившие, теперь представляются ей далекими родственниками, разлюбленными задолго до того, как умерли. Бедные, думает Рухшона, жизнь-то пошла не по-вашему.

А ребенку, за которым она присматривает, родители врут, вечно врут, но ребенок уже ни о чем и не спрашивает. “Смысл жизни, – учит крепыш, – в самой жизни”, – и что-то цитирует в доказательство из французиков. Горд, что перестал стесняться своей низкорослости. Когда? Когда появились деньги. “Значит, и с этим не справился, – думает Рухшона без сожаления. – Отдаешь ты жизни приказания, как хозяин, но ведь ты не хозяин ей: так, приживалка. Пара цитат – вот и вся твоя космология”.

И тут прошлым летом ее вывозят на дачу, не под Москву, как прежде бывало, а в самую настоящую глушь. Здесь она узнает, что маму забрал к себе брат, квартира их продана, и возвращаться становится некуда и незачем. Рухшона видит холодноватое небо, реку, закаты – изо дня в день, и внезапно понимает следующее: жизнь – очень простая и строгая вещь. И все наверхивания на нее – литература, искусство, музыка – совершенно излишни. В них есть правда, какая-то, кое в чем, но сами они – не правда. Правда формулируется очень коротко.

Есть Всевышний – Безначальный, Предвечный, Всемиловитый, Дающий жизнь и Умерщвляющий, – Рухшона помнит все девяносто девять Его имен – трансцендентный, непознаваемый, владеющий всеми смыслами – на одной стороне, и есть мы, ничтожные, – на другой. Нас много, и способны мы почти исключительно на плохое. Пропасть между Ним и нами

бесконечна: мы ближе к праху, пыли под ногами, ибо – сотворены. Он же – *единный, вечный, Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему.*

Рухшона идет к крепьшу, забирает вещи и переселяется в пельменную. Братья по крови тут же крадут у нее все скопленные ею деньги, но она обнаруживает это много позднее, деньги уже не важны. Ее ждет физическая работа, молчание и ежедневное, ежечасное угадывание Его воли. Вера Рухшоны переводится с арабского как “покорность”.

Ее будит дверь. Здравствуйте, Ксения Николаевна. Так и знала, придет. Ксения – не заурядная: в отличие от дачников, от парней с бензоколонки, от негодяя, прирезанного сегодня, не пустая внутри. Искаженное существо, странное, но – пришла.

Свидание начинается так: Ксения падает на пол и тянет руки, пытается обнять Рухшону.

– Обойдемся без Достоевского, Ксения Николаевна, встаньте-ка. Подымайтесь, вы что это, *вытимиши*?

Господи, чудо какое – заговорила деточка! Ясно, шок.

– Не молчи, не молчи, вот покушать тебе принесла. А ты как хорошо, оказывается, разговариваешь на русском!

– Благодарю вас. Русский язык – мой родной. – Рухшона разглядывает содержимое сумки. – И за одежду спасибо. Колбасы я не ем.

– Куда ж ее деть?

– Не знаю, мужу отдать.

“И этот *ухаживал*? Вот кого тоже надо бы...” – внезапно думает Ксения.

– Так у нас пост.

Рухшона пожимает плечами: какая разница? Можно отнести колбасу работникам.

– Они тоже, небось, не кушают колбасы.

– Кушают. Этим закон не писан. Они всё... кушают.

Что еще за закон?

– Роксана, Роксаночка, говори мне “ты”, мы с тобой не чужие ведь, да?

Ей хочется походить на Роксану, быть с нею вровень. Получится ли? Ксения себя чувствует глупой и старой рядом с вдруг повзрослевшим ребенком: поступок поднимает Роксану на недостижимую высоту, ставит ее так близко к тайнам! Ксения всю свою жизнь шустрит, крутится, что-то выгадывает, шажочками маленькими – ти-ти-ти, договаривается с этими... а тут – раз, и сделано. И одна! Все взяла в свои руки – суд, наказание!

– Я лишь орудие, меч. Суд – у Него.

Что-то Ксения не замечала, чтоб Он – взгляд к потолку – во что-нибудь вмешивался, или даже интересовался особенно. Ладно, у каждого своя вера, поговорим-ка мы о вещах серьезных, практических.

– Своя вера? Ну-ка...

Ксения пытается объяснить, путается, она в самом деле еще немножко пьяна: православная вера, народная. Мы святых почитаем, угодников, разные праздники...

Глаза у Рухшоны вдруг загораются: ах, народная! И во что она верит? – в Николая Чудотворца? в Царя-искупителя? в Женский день? Или сразу – во всё?

– Язычество, *ширк!*

Этот взгляд невозможно выдержать. Пожалуйста, не надо смотреть ТАК. Она ж не сама... На все просит благословения.

– Да, да, – Рухшона шевелит в воздухе пальцами: знаем мы эту систему. – Часто отказывают? Язычество, ширк! *Мне все позволительно, но не все полезно!* Как прикажете действовать по такой инструкции? Вот и бегают по улице за матерью с топором, голый, а на шее крест болтается, сама видела.

Ксения представляет себе картину и, не желая того, улыбается.

– Правда, – признает она с грустью, – бывают такие случаи.

Рухшона садится на краешек нар:

– *И истина сделает вас свободными.* От чего? Свобода – что это? Своеволие? Самовольство? Или это ваше – местное самоуправление? Нет никакой свободы, есть миссия, предназначение. А наше дело – понять, в чем оно.

– И как, поняла?

– Да, – отвечает Рухшона, – я знаю, зачем пришла в мир и что меня ждет после смерти. Никаких там: *у Бога обителей много.* Их две: рай и ад.

Это вам не какой-нибудь батюшка, не Александр Третий, здесь – ответы так уж ответы! Но это пока еще так, философия, вопросы на десять копеек. Надо собраться с силами и спросить – на рубль.

Дочка была у нее, Верочка. Хорошая девочка. Работников жалела.

– Мы не собаки, не кошечки, чтобы нас жалеть. Платить работникам надо. Так что твоя Верочка? Книжки любила, наверное?

– Книжки любила, маму не слушала. Красивая была девочка. Одиннадцать классов закончила. Хотела дать ей профессию. А она начиталась, наслушалась... всяких умников и уехала от меня. Писателем решила стать или, не знаю, ученым, филологом... И уехала, и пропала там. Но плохого-то она никому не делала. Так за что Он ее, за что... умертвил?

Последнее слово Ксения произносит совсем тихо, однако не плачет, смотрит внимательно. Рухшона отводит взгляд, потом возвращает его на Ксению:

– За своеволие. Любой грех простится, любой, но за ослушание, за своеволие – смерть. И ад.

Вот первая и последняя правда про Верочку. – Есть такое слово: *надо*, Верочка. – А есть такое слово *нехочется*? – спрашивает та и смеется, она прямо слышит Верочкин смех. И все-таки жалко ее, жалко ужасно!

– По-человечески – да. Но по-Божески непослушание влечет за собой возмездие. Как пальцы в розетку – убьет.

И вымолить никого из ада нельзя. Потому что отвечает каждый самостоятельно. Рухшона говорит очень прямо, твердо, так и сообщают правду. За своеволие – смерть. Плачь не плачь, чего уж тут непонятного?

Женщины сидят на нарах, между ними – еда, как в поезде, словно они отправились в путешествие.

– А СССР?

О, СССР – это большая тема, Рухшоне есть, о чем рассказать. Да уж, новейшая история по ней проехала: Москва, Таджикистан, война.

– Опасно, – вздыхает Ксения.

– Я не боялась. Нет, никогда.

Ксения так не верила ни одному человеку, как сейчас верит ей. Почему же распалась такая страна?

– Засмотрелись на Запад. На *лукавый Запад*. Изменили предназначению.

Как это выразить, как объяснить Ксении? *Но тот, кто двигал, управлял /Марионетками всех стран...* Не читать же в самом деле “Возмездие”?

Отчего нет? Торопиться-то некуда.

Рухшона качает головой:

– Потому что правда не в ней, не в поэзии.

Ясно, что не в поэзии. Только есть ли вообще она – правда-то?

– Да, – отвечает Рухшона, – есть.

Есть, и называется коротко.

Ну же, скажи!

Рухшона немного склоняет голову, смотрит Ксении прямо в глаза – так что и взгляда не отведешь, и произносит почти неслышно:

– Ислам.

– Ислам... – повторяет Ксения зачарованно. – А трудно... этой быть?..

– Мусульманкой? – Рухшона поднимается с нар, ходит по камере. – Трудно, но выполнимо. Не невозможно. Молитва пять раз в день, короткая, месяц в году – пост, милостыня – небольшая, сороковая часть, и однажды в жизни, если возможность есть, – хадж, паломничество. Вот столпы веры. А большего от нас не требуется, разве что, говорит Пророк, *добровольно*. Имений не раздавать, щек не подставлять. Поклоняться Всевышнему.

– А соседа любить?

– Пожалуйста, если любится. Добровольно.

– А если сосед твой – враг?

– А врагов любить совершенно незачем. Врагов любить противоестественно. Ислам запрещает противоестественное. Кто любит врагов? Никто.

– Как же стать мусульманкой? – спрашивает Ксения. Вроде игриво: мол, как вообще становятся мусульманами? – но чешет, чешет пятно на руке.

С Всевышним нельзя кокетничать. Только честность, предельная.

– При двух свидетелях объявить: “Нет бога, кроме Бога, и Мухаммед – пророк Его”, – вот и все. Это символ веры наш, *шахада*.

Где-то Ксения слышала слово, по телевизору.

– *Ля иляха илля ллах...* – нараспев читает Рухшона. Необычно, красиво. – Ксения, не верь телевизору. Особенно про мусульман.

Ксения направляется к двери, не за вторым ли свидетелем? Не ожидала Рухшона такой стремительности – как у них быстро всё!

– Стой, – приказывает она. – Прежде вытрезвись. С этой минуты – не пить. И свинины не есть – мерзость.

– Конечно, – кивает Ксения, – и сама не буду, и из меню уберу.

– Работникам плати.

– Да, да, правда, стыд. Что еще?

Да, что еще? Еще – у Ксении власть над людьми, это не просто так. Вопрос власти – центральный вопрос. Власть имеет огромную мистическую составляющую. Политика, жизнь и вера должны быть одно.

– Кто возьмет себе власть и удержит, тот выделен Им, тот отмечен. Действовать надо – самой, не через этих, фантиков. Власть взять – всю.

– Уже думала, – признается Ксения. – Да только тут как полагается? Кого люди выберут...

Опять самоуправление, юрчики? И какое же место отведено Всевышнему? Нет, править всем должен Он – через нее, через Ксению!

Та заметно приободряется: о, она сделает много хорошего для людей. Мечети в городе нет...

– Мечеть – не главное, – перебивает Рухшона. – Я бы не начинала с мечети.

Это почему это?

– Тут уж я лучше понимаю, Роксаночка. Построим мечеть, в самом центре. И люди будут ходить, у нас много черных.

Есть земельный участок, есть план. Рассуждать о строительстве привычно легко: плана нету пока, но сделаем. Будет мечеть. Будет где помолиться Роксане, когда ее выпустят. Вдруг Ксения останавливается – за всеми этими разговорами она как будто забыла, в каком они находятся положении:

– А ты вернешься? – Вся ее жизнь зависит от ответа на этот вопрос. – Заживешь у меня – хозяйкой. Зачем мне под старость одной такой дом?

Рухшона пожимает плечами: как ей вернуться – после сегодняшнего? Да и чем бы ни закончились следствие и суд, все равно ведь выдворят, депортируют.

Нет, нет, она удочерит ее. Деточка, доченька.

– Совершеннолетнюю? При живой маме? Вздор.

Надо толкового адвоката. Лишь бы она вернулась, повторяет Ксения, и получит всё. А адвокат будет, самый-рассамый. Только вернись!

Нужно ли Рухшоне Ксенино “всё”? Она задумывается – впервые, кажется, за весь разговор. Возможно, ее назначение – обращать несчастных теток в истинную веру, в Единобожие, – там, где она окажется скоро. Вот для чего понадобились сегодняшние события! Рухшоне уже видятся колонны заблудившихся, грешных русских женщин, не обязательно русских – всяких, в одинаковых синих ватниках, серых платках. Она, Рухшона, сообщит им правду, укажет путь.

– Не нужен самый-рассамый, давай попроще. А можно и без него. Не траться на адвоката, Ксения.

– Почему ты так хочешь?

– Не я так хочу. Потом поймешь. А теперь я устала. Иди.

Ксения глядит на часы: да, время-то... Тяжелый был день. Пусть отдыхает, ей завтра в область. Может, к утру передумает – про адвоката. Как знать? Ксения пробует что-то еще уловить – из ее выражения лица. Но на нем уже ничего не читается, только крайнее утомление. Да, пора. Если б знать, когда снова...

Они прощаются.

– Аллах милостив, – Рухшона угадывает ее мысли. – Еще повидаемся.

Ксения прижимает ее к себе, выше груди не достает, утыкается головой, обнимает и держит, держит, не оторваться...

– Скажи что-нибудь.

– Аллах милостив, – повторяет Рухшона, наносит удар по двери, чтоб открыли. – Иди, иди.

– С наступившим вас, Ксения Николаевна, – кивает головой дежурный перед тем, как за ней запереть. Ксения смотрит недоуменно, словно не поняла.

Она выходит на воздух, вдыхает его, идет через темный город, свой город. Люди спят, она нет, это нормально, эти люди ей вверены. Теперь она знает, кем вверены и зачем. Вот ее дом, позади него она отчетливо представляет себе большую красную башню, самую высокую на много километров кругом.

Глубокой ночью Ксения сидит в прибранной пустой пельменной, улыбается и ест холодное мясо. Душа ее занята насущным: поисками адвоката и связей в области, грядущим строительством, приобретением всей полноты власти. Ксения спокойна: с этим всем она справится.

Больше нету ни опьянения, ни особой усталости, хотя многовато, конечно, было всего для немолодой уже женщины – за один-то день.

– Никто тебя никуда не выдворит, – шепчет она, – моя деточка, доченька. Будешь со мной. В области тоже люди, все образуется. От уродов от здешних избавимся, возьмем в руки город. Заживем по закону, по правде. Работать будем, все вместе. С шестнадцати... нет, с тринадцати лет. Интеллигентов, попов, слабаков всяких, хлюпиков выгоним к чертовой матери. Пить?.. – Ксения останавливается, прислушивается к себе. Нелепость какая-то: что, и не выпьешь уже? – Пить, – решает, – только по праздникам. По большим, настоящим, великим праздникам.

В этих размышлениях она пребывает долго: что называется, до первых петухов, провозвестников ее нового знания, всеохватного. Потом идет спать.

Школьного учителя миновали события сегодняшнего дня. Он провел четыре урока – один из них сдвоенный, участвовал в чаепитии с тортом в учительской – мероприятии пустом, но, в общем, теплом. Потом отправился на речку – посмотреть, не пошел ли лед.

На речке учитель встречает отца Александра – тот пришел за тем же самым и тоже улыбается солнышку. Нет, река все еще подо льдом. С отцом Александром учитель едва знаком и только сейчас замечает, какой у того побитый, болезненный вид. Наверное, он несправедлив к нему.

– Скажите, – вдруг спрашивает священник, – а отчего река не замерзает вся целиком, почему подо льдом вода?

Учитель объясняет: в отличие от других веществ вода имеет наибольшую плотность не в точке замерзания, не при нуле, а при плюс четырех, и потому, когда остывает до нуля, то оказывается наверху. Сверху образуется лед, а под ним остается вода. Если бы не это чудесное ее свойство, то реки промерзли бы полностью и в них прекратилась бы жизнь.

Священник покачивает головой: да, чудо, еще одно доказательство бытия Божия. Река, небо, солнышко – они пребудут, а все остальное – пройдет, перемелется, вот о чем он, по-видимому, сейчас думает.

В такой солнечный день не хочется дома сидеть, и учитель решает послоняться по городу. Перед ним новая “Парикмахерская”, через окно он видит свою бывшую ученицу, она ему машет рукой. Действительно, отчего бы ему не подстричься? – он давно не стригся. Она ему моет голову, прикосновения ее теплых пальцев очень приятны. Надо же, двое детей! Учебу, естественно, бросила, да ничему их толком и не учили там. Она не красивая, хоть и милая, про мужа лучше не спрашивать, пока не скажет сама. Как она шустро работает ножницами! А Димку Чубкина он не помнит? Это же ее бывший одноклассник, теперь она Чубкина, неужели он все забыл?

– Знаете, Сергей Сергеевич, ваши литературные вечера – лучшее, что у нас было в жизни, – говорит парикмахерша. – *Когда ты болен и забит...* – как там дальше?

Учитель подсказывает – *загнан*, еще несколько строк, потом уже произносит эпилог “Возмездия” до конца, про себя, целиком. Она сметает с пола отстриженные волосы, он смотрит на них, на нее и думает: Блоку казалось невозможным, чтобы грамотный человек не читал “Бранда”, а вот, поди ж ты, он – учитель литературы, и не читал. Что он знает из Ибсена? *Юность – это возмездие*. Кому – родителям? А может быть, нам самим?

Он приходит домой, нелепо обедает, с Ибсеном, так что через полчаса уже не может вспомнить, ел ли вообще. Счастливый, ничем не омраченный, почти бездеятельный день. Вечером с улицы слышится шум, но значения ему учитель не придает. Он ложится в постель и принимается сочинять конец своей исповеди.

Пора сообразить, в чем моя вера, отчего, несмотря ни на что, я бываю неправдоподобно, дико счастлив. Отчего иногда просыпаюсь с особенным чувством, как в детстве, что вот это все и есть рай? Подо мной земля, надо мной небо, и вровень со мной, в мою меру – река, деревья, резные наличники на окнах, весенняя распутица, крик домашней птицы – и тут же – Лермонтов, Блок. Верю ли я, наконец, в Бога?

Основное препятствие между Ним и мной – Верочка. Верочкина смерть не была необходима, смерти вообще не должно существовать. Думать о ней как вместе встречи, ждать ее, как ждешь невесты, – не получается, нет. Смириться, сделать вид, что привык? Мирись, мирись, мизинчик... Очень уж условия мира тяжелы: нате, подпишите капитуляцию. Говорят, Бог не создавал смерти, это сделал человек: запретный плод, все такое. И еще говорят: она – часть разумного процесса, страшно и вообразить, как бы мы жили, не будь ее. Что же, Верочка просто стала жертвой миропорядка, во имя этого умерла? Одни вопросы...

Есть и ответы. Я верю, что из правильно поставленной запятой произойдет для моих ребят много хорошего: как именно, не спрашивайте – не отвечу, но из этих подробностей – из слитно-раздельно, из геометрии, из материков и проливов, дат суворовских походов, из любви к Шопену и Блоку – вырастает деятельная, гармоничная жизнь.

И, наконец, я свободен. “Радуйтесь в простоте сердца, доверчиво и мудро”, – говорю я детям и себе. Не сам придумал, но повторяю столь часто, что сделал своим. Таким же своим, как сонных детей в классе, как русскую литературу, как весь Божий мир.

2009, 2012, 2015 гг.

Человек эпохи Возрождения Повесть

Кирпич

Сероглазый, подтянутый, доброжелательный, он просит меня рассказать о себе.

Что рассказывать? Не пью, не курю. Имею права категории “В”.

От личного помощника, говорит, ожидается сообразительность.

– Позвольте задать вам задачку.

Хозяин барин. Хотя, что я – маленький, задачки решать?

– Кирпич весит два килограмма плюс полкирпича. Сколько весит кирпич? Условие понятно?

Чего понимать-то?

– Четыре кг.

До меня ни один не ответил. Так ведь я по второй специальности строитель.

– А по первой?

А по первой пенсионер. В нашей службе рано выходят на пенсию.

Виктор вроде как младший хозяин, я покамест не разобрался:

– Пенсия маленькая?

Побольше, чем у некоторых, а не хватает. Старший ставит все на свои места:

– Анатолий Михайлович, вы не должны объяснять, для чего вам деньги.

Я, вообще-то, Анатолий Максимович, но спасибо и на том. В итоге он один меня тут – по имени-отчеству, а Виктор и обслуга вся, те Кирпичом зовут. Ладно, потерпим. Главное, взяли.

Высоко тут, тихо. Контора располагается на шестнадцатом. Весь этаж – наш. А на семнадцатом сам живет. Выше него никого нет. Кабинет, спальня, столовая, зала и этот – *жим, джим*.

– Лучше шефа сейчас никто деньги не понимает. – Слышал от Виктора. – Мне, – говорит, – до него далеко пока.

Виктор – небольшого росточка, четкий такой, мускулистый. Я сам был в молодости, как он. Заходит практически ежедневно, но не сидит. На земле работает, так говорят, – удобряет почву. Проблемы решает. Какие – не знаю. Мои проблемы – чтоб кофе было в кофейной машине, лампочки чтоб горели, записать, кто когда зашел-вышел. Хозяин порядок ценит – ничего снаружи, никаких бумажек, никакой грязи, запахов. Порядок, и в людях – порядочность.

– Наша контора, – говорит Виктор, – одна большая семья. Кто этого не понимает, будет уволен. Так-то, брат Кирпич.

Два раза мне повторять не надо.

Я – сколько здесь? – с августа месяца. Большая зала, переговорные по сторонам, кухня, лестница на семнадцатый. Тихо тут, как в гробу. Мировой финансовый кризис.

Сию в основном, жду. Чего-чего, а ждать мы умеем. Смотреть, слушать, ждать.

У богатых, как говорится, свои причуды: шеф вон – на пианино играет. Все правильно, в Америке и в семьдесят учатся, только мы не привыкли. Завезли пианино большое, пришлось стены переставлять. Надо так надо. Я ж говорю, у богатых свои причуды.

Ходят к нам – Евгений Львович, хороший человек, и Рафаэль, армянин один, музыку преподает. Виктор называет их “интели”. Интеллигенция, значит. Только если Евгений Львович, чувствуется, действительно человек культурный, то Рафаэль, извините, нет. Вот он выходит из туалета, ручками розовыми помахивает и – к Евгению Львовичу. На меня – ноль внимания, будто нет меня.

– В клозете не были? Сильное впечатление. – Разве станет культурный человек о таких вещах? Тем более с первым встречным. – А вы, позвольте спросить, с патроном чем занимаетесь?

– Я историк... Историей. – Евгений Львович оглядывается, будто провинился чем. Вид у него – не сказать чтоб здоровый, очки прихвачены пластырем. И каждый раз так – задумается и говорит: “Все это очень печально”.

А хозяина стали они звать патроном. Патрон да патрон.

– Давно, Евгений Львович, с ним познакомились?

Чего пристал к человеку? Ты сам с Евгением Львовичем познакомился только что. Урок кончился – и топай давай.

– В конце октября. На Лубянке, у камня. Знаете Соловецкий камень?

– Ага, – говорит Рафаэль. – А что он там делал?

Ох, какие мы любопытные, всюду-то мы норовим нос свой просунуть! Не нравится мне Рафаэль. Хотя я нормально, в общем-то, ко всем отношусь. Кто у нас не служил только.

– Шел мимо, толпа, подошел... – отвечает Евгений Львович.

Потом патрон домой его повез, в Бутово. О, думаю, Бутово. Мы соседи, значит.

– Никогда прежде не ездил с таким комфортом.

И чего ты, думаю, расстраиваешься? Все когда-нибудь в первый раз.

– Беседовали, представьте себе, – говорит, – о патриотизме.

У Рафаэля сразу скучное лицо.

– Но разговор получился славный, я кое-что себе уяснил. Знаете, когда имеешь дело только с людьми из своей среды... Многое как бы само собой разумеется...

Да чего ты перед ним извиняешься? – думаю.

Евгений Львович про женщину рассказывает про одну:

– Представьте себе, муж расстрелян. Обе дочери умерли. В тюрьме рождает мертвого ребенка. И такой несгибаемый, непрошибаемый патриотизм. Что это, по-вашему?

Рафаэль плечом дергает:

– Страх. Не знаю. Коллективное помешательство.

– Вот и наш с вами, как вы его назвали? – патрон – высказался в том же духе. А по мне – нет, не страх. Книгу Иова помните?

Рафаэль кивает. Как они помнят! Все у них, главное, какое-то свое.

– Перед Иовом ставится вопрос: “да” или “нет”? Говорит он миру, творению “да” или, как жена советует...

– “Похули Бога и умри”.

– Вот-вот. Именно. А ведь Советский Союз для тех, кто тогда в нем жил, и представлял собою – весь мир. Так что...

– Это натяжка, Евгений Львович. Многие помнили еще Европу.

– Кто-то помнил. Как помнят детство. Но оно прошло. И осталось – вот то, что осталось. Советский Союз и был – настоящее, всё. Теперь у нас есть граница. А тогда: либо – “да”, либо – “нет”, “похули и умри”.

Рафаэль голову склонил набок:

– Что-то есть в этом. Можно эссе написать.

Евгений Львович уже не таким виноватым выглядит.

– Какой у вас, Рафаэль, практический ум!

– Был бы практический... – Рафаэль глазами обводит контору. – Десять лет на коробках. И какой же историей вы занимаетесь? Советской? ВКП(б)? Патрон ее в институте должен был проходить. Ему ведь – сколько? Лет сорок?

– Нет, – улыбается Львович. Смотри-ка ты, улыбнулся! – Нам пришлось начать сильно издалека. Мы занимаемся, скажем так, священной историей. *В начале сотворил Бог небо и землю.*

Чего он так голос-то снизил?

– Да-а... – Рафаэль поводит головой влево-вправо, а в глазах смешочек стоит. – А ведь это замечательно, разве нет? Дает, так сказать, шанс. Ведь ученик-то наш! С вами историей, от Ромула до наших дней, со мной – музыкой! И тут же – спорт, наверняка какой-нибудь нетривиальный, финансы... В которых мы с вами, я во всяком случае, ни уха ни рыла, но зато весьма, прямо скажем, нуждаемся! – Не поймешь Рафаэля, серьезно он или издевается? – Где финансы, там математика. Что-то он мне сегодня про хроматическую гамму втолковывал, про корень какой-то там степени... Широта, размах! Просто – человек эпохи Возрождения!

Львович бормочет: да, мол, в некотором роде...

– Знаете, – говорит вдруг, – что он после той, первой встречи нашей сказал? На прощание. “Наш разговор произвел на меня благоприятное впечатление”. Вот так.

Опять Рафаэль принимается хохотать, а потом вдруг дико так смотрит:

– Позвольте, Евгений Львович, он что же, Ветхого Завета совсем не читал?

– Ни Ветхого, ни, скажу вам...

– Подождите, послушайте, ведь они все теперь поголовно в церковь ходят! Их же там, я не знаю, исповедуют, причащают!

Львович как-то сдулся весь. Лишнего наболтал. Понимаю. Так ведь это ж не он, а Рафаэль этот все.

– Не знаю, не знаю... Да, причащают... – Очки снял, трет. – Как детей маленьких. – И тихо совсем сказал, но я расслышал: – Не знаю, как вы, Рафаэль, но я работой здесь дорожу. Во всех отношениях. – Вздохнул потом: – Все это очень печально.

А тут и звонок. Рафаэль вскакивает:

– Ваш выход. Был рад познакомиться. Вы тоже – понедельник-четверг? Продолжим как-нибудь у меня? Если только, – подмигивает, наглый черт, – разговор произвел на вас благоприятное впечатление. Мы близко тут, на Кутузовском. Жена, правда, ремонт затеяла...

Во как, оказывается. На Кутузовском. Красиво жить не запретишь. Ясно, зачем тебе частные уроки. Или врешь – нет квартиры у тебя на Кутузовском?

Рафаэль, тот раньше приходит, а Львович – после обеда. У нас нету обеда, но так говорится. Где-то, короче, в три.

А про Кутузовский – не соврал Рафаэль. Я пробил по базе. Семь человек прописано: его сестра, жены сестра, дети... Вот у Евгения Львовича – ни жены, ни детей. Он и мать. Мать двадцать четвертого года, он пятьдесят седьмого.

Сегодня Рафаэля очередь представляться, похоже.

– А меня он, вообразите-ка, сам нашел. – И краснеет от удовольствия. Наполовину седой уже, а краснеет, как мальчик. – Изумительная история, всем рассказываю. Патрон любит окрестности обсматривать в бинокль. В свободное от построения капитализма время. И вот он видит, а проходя мимо, и слышит, что дня изо дня, из года в год какие-то люди, молодые и уже не очень, с утра до ночи занимаются на инструментах. Девочки и мальчики таскают футляры больше их самих. Потом наш патрон узнает, сколько зарабатывает профессор консерватории, каковы вознаграждения за филармонические концерты, сколько *своих* средств расходуют музыканты, чтобы сделать запись. И обнаруживает, что у всей этой деятельности почти отсутствует финансовая составляющая, понимаете? Как у человека с живым умом, но привыкшего оперировать экономическими категориями, у него просыпается интерес. И вот

он приглашает меня... Дело в том, что весной вышла в свет, – опять он краснеет, – “Новая музыкальная энциклопедия”, созданная, э-э... вашим покорным слугой...

Короче, патрон пришел в магазин, где книжки, узнать, кто в музыке разбирается. Ему и дали этого, Рафаэля.

– Найти меня было несложно. Я читаю студентам историю музыки и... – совсем красный стал, – заглядываю иногда узнать, как продается энциклопедия.

– Удивительно, – говорит Евгений Львович. – Вы тоже – с Ромула до наших дней?

– “Ходит зайка серенький...” – пока что так. “Андрей-воробей, не гоняй голубей”. Слушаем много. Сегодня вот – венских классиков...

Историк кивает:

– Моцарт, Гайдн, Бетховен. МГБ. Общество венских классиков. Мы так в молодости эту организацию называли.

Евгений Львович, когда и смеется, то ртом одним. Глаза остаются грустные. Зато Рафаэль хохочет, трясет кудрями. Цирк. Потом на меня вдруг смотрит. Чего он так смотрит, ненормальный он, что ли? Давай, рожай уже что-нибудь. Головой, наконец, повел:

– Знаете, а мы ведь участвуем в грандиозном эксперименте. Не знаю, как вы, а я уже даже не из-за... Интересно, что у нас выйдет. Представляете, патрон наш басовый ключ отменить предлагает. Я про альтовый даже упоминать боюсь! И все-таки на таких, как он, – пальцем вверх тычет, – вся надежда. Мы-то с вами, Евгений Львович, уходящая натура, согласны? Он про кирпич вас не спрашивал? Нет? Спросит еще. Ладно, бежать пора.

Я к Рафаэлю уже привыкать стал. Зря он только, что деньги, там, не нужны... Как деньги могут быть не нужны?

Ушел он. Говорю Евгению Львовичу:

– Кирпич весит четыре килограмма.

– Вы о чем это? – спрашивает.

Скоро, думаю, узнаете, о чем, Евгений Львович.

– Кофе, – спрашиваю, – желаете?

Смотрит на меня так жалобно.

– Да, – говорит, – спасибо, не откажусь.

Вот и хорошо. Хоть спрошу.

– Мне книжку тут, – говорю, – соседка дала. Дневники Николая Второго.

Он как будто сейчас заплачет.

– Не советую, – говорит, – читать. Расстройство одно. Ездил на велосипеде, убил двух ворон, убил кошку, обедня, молебн, ордена роздал офицерам, завтракал, погулял. Обедал, мама, потом опять двух ворон убил...

– Вороны, – говорю, – помоечные птицы. Нечего их жалеть.

– Все равно, – говорит, – дворянину, да просто нормальному человеку не пристало ворон стрелять. Особенно в такой исторический момент.

Ладно. Там, наверху, только, Евгений Львович, про ворон не надо. Смотрит на меня долго. Да чего с ним? Не может быть, чтоб нормальный человек из-за ворон расстраивался. Видно, Рафаэль его наш достал.

– Не переживайте вы, – говорю. – Он же нерусский. Он же... – слово еще есть – эмигрант.

Евгений Львович к окну подошел, чашку на подоконник поставил, в принципе – нехорошо, пятно останется. Ничего, вытру потом.

– При чем тут, – говорит, – эмигрант – не эмигрант. Мы все, если хотите знать, эмигранты. И я, и вы, и даже патрон ваш. Все, кому тридцать и больше. Иная страна, иные люди. Да и язык. Вот этот ваш, помоложе, как его? Виктор. Вот он – здешний, свой. Крестный ход, вернее, облет Золотого кольца на вертолетах. С губернаторами, хоругвями и всем, что полага-

ется. Я снимки, – говорит, – в газете видел. А мы все... Уезжать надо из этого города куда-нибудь далеко, в глубинку. Там все-таки в меньшей степени наша чужесть заметна.

Ничего я не понял. Чувствую, что-то не то сказал. Хотя я ж ничего плохого не имел в виду. Чего он так? А это бывает, что и не определишь. Может, допустим, мать его помирает. У меня когда мать померла, я вообще никакой был.

Так и живем. Я и к Рафаэлю привык, и с Евгением Львовичем иной раз переговорить получается. Уроков, наверное, десять патрон у них взял. А в последний раз, верней, в предпоследний, у нас не очень хороший разговор, к сожалению, вышел.

Началось, вроде, как всегда. Спускается Рафаэль от патрона, потягивается, будто кот. Прижился. Улыбается Евгению Львовичу:

– Ох, и хороший же здесь рояль! Да только, между нами говоря, не в коня корм. Ничего у нас на нем не выходит.

А ты бы учил, думаю, лучше.

– Непродуктивные, – говорит, – какие-то у нас занятия. Не знаю, как с вами, Женя, – они без отчеств теперь, – а со мною так. Бросил бы, чувствую, это дело, если б не, сами понимаете...

– Не горячитесь, – отвечает Евгений Львович. – Сложное это дело, на рояле играть. Я вот тоже не научился, а ведь мама у меня – педагог училища. Очень, кстати, благодарила вас за энциклопедию. И было мне вовсе не сорок лет, когда она пыталась меня учить.

– Возраст, конечно, да, тоже... – говорит Рафаэль. – Да только тут дело не в возрасте. Вот мы сегодня слушали... – и фамилию длинную какую-то называет. – Хотите знать, что он о ней сказал? “Такое не может нравиться!”

– Сумбур вместо музыки, – кивает Евгений Львович. – Я, честно сказать, ее творчество тоже пока для себя не открыл.

– Сумбур, сумбур... – повторяет Рафаэль. Чем это он так доволен?

Они еще поговорили немного про всякую музыку, и тут Рафаэль заявляет:

– Знаете, к какому выводу я прихожу? Патрон – человек как бы сверхполноценный, да? Но высший доступный ему вид эстетического наслаждения – увы, порядок.

Да, мы поддерживаем порядок. Чего здесь плохого?

А этот никак все не успокоится:

– Все ровное, чистое, полированное, немислимой белизны сортир. Женщины мои о таком, должно быть, мечтают. – На часы глядит. – Опять я опаздываю. Между прочим, говоря о порядке, – мне кажется, это свинство – заставлять вас ждать.

– Я не спешу, Рафаэль.

Борзеет армяшка, думаю. Иди давай. Тебя ж вовремя приняли. Всё, будем учить. Что-то я, правда, размяк.

– Молодой человек, – говорю.

– Я вам не молодой человек! Я профессор Московской консерватории!

Смотри, какие мы бываем сердитые! Глаза вытаращил. Первый раз внимание на меня обратил. Я для него – вроде мебели. Ничего, профессор, обламывали не таких. Корректно говорю:

– Евгения Львовича пригласят, как только закончится видеоконференция. – И добавил для вескости: – С председателем Мостурбанка.

Я не то сказал? Смотрю, даже Евгений Львович отвернулся в сторону. А этот зашелся прямо от хохота:

– Мастурбанка! – и ручонками себя по коленям. – Женя, слышали? Мастурбанка!

Львович, мне:

– Нет, – говорит, – быть не может. Это юмор такой.

Да хрен его знает! Пошли вы оба! Но, вообще, действительно, что-то странное. Полчетвертого. Кофе им приготовил. Рафаэль тоже стал кофе пить. Вроде как помирились. Черт их поймет. Ты ж опаздывал! Сел на подоконник, ногами болтает, профессор.

– Глядите, – говорит вдруг, – что это? Секунду назад вон с той крыши ворона свалилась. И еще одна. Видите? И еще – глядите – взлетела и – раз! – вниз.

Евгений Львович не в окно, на меня смотрит.

– Смотрите, смотрите! – Рафаэль, как маленький. – Хромает, вон – прыгает, как ненормальная, к краю – и тоже – бац! Что такое? Вроде не холодно. Может, инфекция? Есть же, кажется, инфекция птичья. Птичий грипп, а? – Окно открыть хочет. Неумелые ручки. Оставь ты в покое окно.

Звонок сверху. На сегодня занятия отменяются. Потерянное время, Евгений Львович, будет вам полностью компенсировано. Нет, он не возьмет трубку сам.

Черт-те что. Кажется, даже армяшка, который кроме себя никого не видит, стал до чего-то догадываться:

– Но, – говорит, – он ведь все-таки – фигура яркая?

– Да, – отзывается Евгений Львович. – Человек эпохи Возрождения. – Помолчал и потом – любимое: – Все это очень печально.

Лора

Женщины возникали в его жизни, как мишени в тире, и сразу занимали все внимание – ненадолго, но целиком. Добившись успеха, понятно какого, он некоторое время еще длил отношения, а потом разрывал. Так все и шло, как должно было идти – он в книжке одной американской прочел, что любовь – это *power game*, игра *кто кого*, – английский он знал достаточно, чтобы читать книги по психологии – как добиться успеха, как управлять людьми, – когда начинал свое дело, эти книги очень емугодились, теперь их на русский перевели. Становясь воспоминанием, подруги его оказывались симпатичнее, чем были в действительности: самое ценное в них – изгибы, поверхности, линии – и, конечно, преодоление первого сопротивления, взаимного страха – это запоминалось, а привносимый женщинами беспорядок со временем уходил.

С Лорой, однако, получилось не так, как с другими, – и вместо того чтоб признать, что эту игру он – да, проиграл, и двигаться дальше, либо, напротив, решить, что модель *кто кого* не универсальна и дала в случае с Лорой сбой, и опять-таки двигаться дальше – зарабатывать деньги, заниматься саморазвитием, знакомиться с новыми женщинами, наконец, – вместо этого всего он сидит у раскрытого окна и стреляет ворон.

Не холодно, хотя декабрь, на градуснике плюс пять, винтовка, оптический прицел – он сидит на подоконнике и сшибает с соседней крыши грязно-черных птиц, одну за другой. Стрелять ворон не так просто, как кажется: надо не только попасть, но не вызвать шума, не говоря уж о том, чтоб причинить кому-нибудь вред. Здесь высоко, кусок тихой улицы, ведущей к Большой Никитской, и вдалеке – тротуар перед консерваторией, краешек памятника Чайковскому. Хорошая у него винтовочка, тихая. От стрельбы становится не то чтобы хорошо, но получше.

Сорок минут назад ушел Рафаэль – они опять больше слушали музыку, чем играли, – заниматься в последние две недели не было ни времени, ни желания – сначала Рафаэль, напевая, покачиваясь, сыграл что-то старое, довольно красивое, в общем – куда ни шло, но потом – он сам просил познакомить его с современными авторами, они поставили записи – и у него возникло убеждение, что ему просто морочат голову. Два с половиной месяца – столько он занимается музыкой – конечно, не очень большой срок, но кое-какой опыт уже у него имеется – он слышал и венских классиков, и Шостаковича, и знал, например, что Штраусов было два, и что любить Иоганна Штрауса – дурной тон, а на Чайковского можно смотреть и так, и эдак, тут каждый решает сам. Еще он узнал, – Рафаэль любит сплетничать, – что Пуленк – гомосексуалист, а Шостакович – не еврей, и что три четверти – трехдольный размер, а шесть восьмых вопреки очевидности – двух-. Но то, что он слышал сегодня, – как фамилия этой женщины? – такое – нравится, доставляет наслаждение, радость, а зачем еще существует искусство? – нет, не может.

Не лучше обстоит дело и со священной историей, с самой популярной в мире книгой, этим сгустком человеческой мудрости. Масса немотивированного насилия – и кто-то будет его осуждать за ворон? – брат убивает брата, отцу велено резать сына, без объяснений – пойд и убей, истребляются народы – что плохого они сделали? Сеул – Евгений Львович его поправляет – Саул – да, за что он наказан? За гуманное отношение к пленным? Человечество все же очень продвинулось по сравнению с древностью. *Я никого не угнетаю*. А, простите, потоп? Нет, он вежливый человек, он не станет никому ничего высказывать, он даже собирается изучить все до конца и самым внимательным образом, хоть и трудно, конечно, читать огромную, перегруженную подробностями книгу, в которой напрочь нет юмора. Он таки пожаловался в прошлый раз, и Евгений Львович обещал сегодня кое-что рассказать, но, видно, не судьба, да и что этот милый печальный человек, сильно, видимо, выпивающий, понимает в юморе? Сегодня в любом случае не до юмора, сегодня звонила Лора.

А вороны, чтоб уж покончить с воронами, – это злые, грязные, помоечные птицы, разносчики инфекций. Они нападают на детей, клюют их в головы. Возле консерватории живет ворона, которая курит. Выхватывает у людей изо рта горящие сигареты и курит. Это не сказки – он сам ее видел, в день, когда познакомился с Лорой. Их и свела ворона.

Он помнит: теплый вечер субботы, вот он выходит из кафе, – группа хохочущих ребят у памятника, ребята смотрят на ворону, в клюве у той сигарета, он идет в сторону, как он узнал потом – Рахманиновского зала, проследить путь вороны, но внимание его отвлечено худой девицей с длинными ногами и волосами. Девица брюнетка. Брюнетки, считается, в его вкусе.

– Музыку послушать не хотите, молодой человек? – спрашивает девица, она стоит у стеклянных дверей – ноги крест-накрест – курит.

Только если она составит ему компанию. Только в этом случае. Что... дают, исполняют, как правильно? Не признаваться же, что раньше не был в консерватории. – Девица кивает на афишу. Крупно: Франсис Пуленк, “Человеческий голос”. И еще крупней: Лора Шер, сопрано. – Так она составит ему компанию? – Девица довольно откровенно его оглядывает.

– Естественно. – Бросает окурок, идет вперед.

Курточку надо сдать в гардероб. Девица уходит по мраморной лестнице вверх. Он успевает разглядеть ее со спины. Ничего. Через минуту и он уже в зале. Где его спутница? Ее не видно, хотя людей мало и сидят они редко. На сцене – молодая миловидная женщина в красном платье, рыжая, с очень белой кожей. Это Лора.

Красное платье, черная телефонная трубка с длинным проводом. *Алло, алло, мадам...* “Лирическая трагедия – прочтет он в энциклопедии Рафаэля, – произведение высокого гуманизма и драматической силы”. Произведение написано для сопрано с оркестром, здесь исполняется под рояль. *О, Боже, пусть он позвонит мне!..* Помимо пения присутствуют элементы театра: Лора довольно ловко передвигается по сцене, задействует стул, подставку для ног – пульт. Провод оборачивает вокруг шеи. *Алло, дорогой, это ты? Ты так добр, что снова позвонил?* Стул черный, пульт красный, белая Лора с рыжими волосами. Он впечатлен, очень.

Прости мне эту слабость! Лора обращается то к пианисту, то к телефонной трубке, но более всего – в зал. Рассказывает, как отравилась. – *Ну что ж, я знаю, что смешно!* – умоляет не ночевать в том отеле, где они обычно останавливались, когда посещали Марсель.

Люблю, люблю, люблю! Последнее “люблю” Лора почти шепчет, смотрит прямо на него. Или показалось?

Он быстро идет домой, берет первую попавшуюся вазу, с тряпочкой, на которой та стоит, потом – в цветочный на углу:

– Белых, красных! Следите только, чтоб нечетное число!

Где он может найти исполнительницу? – В артистической. Туда, до конца и наверх. Он не знает, как у них – у артистов, у музыкантов – принято. Вероятно, как и в любом деле: если тебе что-то надо, пойди и возьми. Раньше всех.

С цветами он, кажется, перестарался. Лора, одетая уже обычным образом – свитер, джинсы, – более удивлена, чем обрадована.

– Мерси. – Когда Лора говорит, а не поет, то голос у нее низкий, чуть хриплый. И слишком маленький, как ему кажется, для певицы рот.

– Ну что, Лорка! – восклицает из угла артистической курящая брюнетка. – Хорошего я олигарха тебе привела?

Над достатком в его кругу потешаться не принято, но тут другой круг.

– Устали? – сочувствует он Лоре. Вблизи на лице ее, несмотря на молодой возраст, уже заметны следы старения. Морщинки вокруг глаз, черточки. Истинный возраст устанавливают именно по таким маленьким признакам. Сколько ей? Лет двадцать восемь – тридцать.

Брюнетка разглядывает вазу и, не стесняясь его присутствием, кричит:

– Лорка, да это ж гермеска!

– Только салфетка. Фирма “*Hermes*” — это прежде всего текстиль, они не производят цветочных ваз, – поясняет он. – Кстати, правильно говорить не “Гермес”, а именно так – “Эрме”, название французское.

– Век живи – век учись, – притворно удивляется брюнетка. А как называется *его* фирма? И чем занимается? Она хотела бы знать, кому перепоручает заботу о Лоре.

Как у них быстро все! Фирма называется “Тринити”.

– “Тринити”! – восклицает брюнетка. – Лорик, ты слышала? “Тринити”!

– Дело в том, что вначале нас было трое. А занимаемся мы...

– Наемными убийствами, да? – подсказывает брюнетка.

Лора: он должен извинить ее подругу, она успела выпить вина. Конечно, можно не реагировать.

Заглядывает дядька какой-то с поцелуями, поздравлениями.

– Ты живая? Нет? Можно приложиться к мощам? – Обнимает Лору, слишком, кажется, откровенно.

Еще глупый высокий парень: очень жизненно, у меня, говорит, сейчас, не поверишь, такая же байда, с девушкой расстаюсь. Уходят, все уходят. Они – всё, одни. Интересные в целом люди, он не встречал таких. Она позволит себя проводить? На машине, машина рядом. – Да, спасибо, *он очень добр*. Не совсем еще вышла из роли.

Села, глаза прикрыла, волосы – по краям подголовника из бежевой кожи. Машина не производит впечатления на Лору, она не делает по ее поводу ни единого замечания.

– Устали? – снова спрашивает он.

Да, естественно, волнение, сцена. Аспирантам почти никогда не дают сольный вечер.

– А музыканты всегда волнуются перед концертом?

– Конечно. Что за вопрос? – Лора удивлена.

– Зачем волноваться? Легчик, допустим, или хирург – они не волнуются *так* перед своей работой. Хотя речь там идет о жизни, а тут... – Кажется, он догадывается: – Тут – о славе, поэтому?

Лора смеется:

– Нет.

Нет, отвечает Лора, если б сегодня я неудачно спела, то никто бы не умер... Но оказалось бы, что я не певица, понятно? Так что там, конечно, о жизни, а тут – о смысле жизни, о содержании, теперь понятно? – Честно говоря, не очень... – Вот, приехали. – Она живет тут? Это что? – Общежитие консерватории. – Так Лора не замужем?

– Как теперь говорят: все сложно.

Он был бы рад продолжить разговор...

– О том, насколько все сложно?

– Нет, о содержании, о смысле. – Он сбит с толку, смущен.

– Как это было? – Он ведь ни слова ей не сказал про концерт.

Если честно, то ему трудно судить. Так как он впервые присутствует на концерте.

– Ничью участь, – произносит Лора, – чистосердечные признания не облегчали.

Откуда такая уверенность?

У Лоры очень белая кожа. Насколько он понимает, ей следует реже бывать на солнце. Так что в Землю Обетованную он ее не зовет, и в Грецию, и в Италию. Не съездить ли им в Норвегию?

– Это было бы мило, – отвечает она уклончиво.

Грузинский ресторанчик, прогулка у Новодевичьего. Он каждый раз дарит ей что-нибудь дорогое, гермески всякие, по выражению ее черноволосой подруги. Движение души, он ничего

не ожидает в ответ, кто помешает ему быть добрым? Между ними происходят разговоры: что же именно сложно? – Она не станет всего рассказывать. Пианист, дирижер, композитор, автор философских книг, творческая личность – тот, с кем она пела Пуленка, – он не помнит? И хорошо, что нет. – Философских, надо же! – Да, философских, музыковедческих, эротических, в высшем смысле, он понимает? Пишет оперу из жизни царской семьи. Лора исполнит в ней партию Матильды Кшесинской. Готово два акта. – А своя семья у творческой личности есть? – Не одна. Вот уж где сложно, так сложно! Зачем спрашивать? Не ее это тайна, не только ее. – Надо будет выяснить, что за тип, – думает он без ненависти. Ревновать глупо. Глупо и оскорбительно. Вечное наше стремление – кем-нибудь обладать. Всякий человек – не средство, а цель, – утверждает Евгений Львович.

– Поговорим о другом, – просит Лора. – Чем занимается “Троица”? – вовсе, как она догадывается, не святая.

Почему не святая? То есть, разумеется, всё на грани, но сильно по эту сторону. Инвестициями. Выискиванием слабых мест. Рынок, все решает рынок, рынку надо помочь, путем, в частности, выискивания слабых мест – он надеется, что это понятно, что она осознает первичность экономических отношений. Бедным быть стыдно: если ты беден, то либо ленив, либо талант твой не нужен, а он есть в каждом, талант. Напротив, если ты хорошо зарабатываешь, то сотням, тысячам вокруг тебя – лучше. Он многому учится у нее, но хотелось бы, чтобы кое на что она смотрела его глазами.

– О, – заявляет Лора, – никаких проблем.

Ему хочется рассказать: Роберт, когда посадили Роберта... – Ее лицо изображает сочувствие. – Не поделили кое-что с Обществом венских классиков, МТБ – ясно? Рафаэль научил. Не засмеялась, не поняла. Да она и не слушала. Вернее, не слышала слов, ее мало интересует содержание речи.

Лора что-то мурлычет тихонько. – Приятно, когда внутри непрерывно – музыка? – Ей трудно ответить. Как же иначе? – Она, оказывается, любит народные песни. Чего в них хорошего? На его взгляд, убожество.

– Как в детстве, во сне, когда падаешь, падаешь, летишь, и жутко, и обмираешь от страха, и никак не долетишь до дна, – объясняет Лора. Красиво поводит рукой. Кажется, она в последний раз тогда говорила с ним в полную силу, с отдачей.

В его жизнь уже входят рояль, Рафаэль. Сумеет ли он научиться играть?

– Я ведь не могу ответить, что нет, – отвечает Лора.

Просто, чересчур просто она оказалась в его постели, хотя между молодыми, свободными, физически привлекательными людьми и должно происходить все просто. – Ах, ему это важно? Тогда – конечно, пошли. – А ей? – И ей. Пожалуй, и ей. – Не надо вдаваться в мотивы, в некоторых отношениях женщины сложнее мужчин, это ему известно не только из книжек по психологии.

– Мы поедем с тобой в Норвегию?

– Может быть, да... – она проводит пальцем у него от подбородка – вниз, вниз, до солнечного сплетения, – а может быть, нет. – О чем-то другом задумалась.

Лора встает, заворачивается в простыню, идет к роялю, в гостиную, трогает клавиши, голос пробует. Снизу контора, нет никого, сверху небо: можно играть сколько хочешь. Играть и петь.

– Откуда рояль?

Он занимается музыкой. Она что же, забыла?

– Ни слова, о друг мой, ни вздо-о-о-ха, мы будем с тобой молчаливы...

– Чего так грустно, Лорочка, Лора?

Теперь ее пение предназначено одному ему. Лора остановилась. *Ни вздо-о-о-ха*, – поет она немножко по-другому, а потом еще как-то по-третьему. Нашла время позаниматься.

Не поехать ли им в Норвегию?

– Фьорды, гладкая поверхность воды... – Он гладит рояль. Возможно, белый был бы красивее. Белый, как Лорина кожа. Или красный – как ее волосы? Гладит рояль, гладит Лору. Он любит гладкое.

Хороший у него рояль, говорит Лора, очень. Творческая личность довольствуется инструментом поуже. Что ответить? Только пожать плечами. Лора, по-видимому, считает несправедливым, что у творческой личности нет чего-то, что есть у него. Рояль – только вещь, не надо одушевлять рояль. Ей, к счастью, инструмент не нужен. Она сама – изумительный инструмент.

Значит, в Норвегию... А чего еще он хочет? – О, множество разных вещей! Поскорей научиться играть на рояле, дожать в ближайшее время Ветхий Завет. Каждый культурный человек должен иметь представление. Пусть теперь скажет она. Он ждет уклончиво-изящного ответа, но нет, все просто: ей надо выучиться петь. – Это ясно. – И еще... Еще ей хочется полноты... – Полноты? Непонятно. – Полноты отношений, всего... Пробриться к подлинной жизни. Объяснить понятней она не в силах. Из чего состоит его жизнь?

– Как у всех, – отвечает он, – из работы и отдыха. – Он много, очень много работает.

А ей, разумеется, он понимает, мужа надо иметь, детей, но он должен предупредить: дети его не особенно интересуют. Возможно, что-то изменится, но пока...

При разговоре о детях в его глазах возникает испуг, не оставшийся, как он видит, без Лориного внимания. – О, пусть он не беспокоится, сейчас, сию вот минуту, ничего такого, непоправимого, не случится. – Почему так брезгливо? Они ведь свободные люди.

Утром, почти одетая, Лора смотрит, как он застилает постель. Ровно-ровно, не оставляя складочек. Где он так научился, в армии? – Почему в армии? Он всегда любил...

Он стоит под душем: хорошо бы выйти, и – никого. Лора все-таки отнимает у него массу сил. Он знает, что будет делать: бросится на свежезастланную кровать, повспоминает ночь. Это желание, к его удивлению, сбывается: когда он выходит из душа, то Лоры нет. *Ни слова, о друг мой...* Ничего, ничего, вернется. Он превосходный любовник, объективно. Она вернется. Однако та ночь оказывается в истории их отношений пока единственной.

И вот теперь, в начале декабря, он стоит у окна, ворон больше нет, и перебирает свои неудачи.

Однажды попробовал выяснить, не мешает ли пению маленький рот. Ему всегда казалось, что певицам требуется большой рот, как пианистам – большие руки. И чего он, собственно, сказал плохого?

Еще спрашивал про кирпич.

– Вокалистки, по-твоему, все – идиотки? – Все, чего он добился.

Но сколько весит кирпич? Его помощник ответил.

– Вот и целуйся с помощником! – А сколько весит кирпич, не сказала.

Вот ведь досада, досадища. Все приставал к ней с расспросами про творческую личность, хороший ли тот любовник, и Лора, рассердившись, однажды ответила:

– Подходящий.

С конца ноября он стал пытаться отвыкнуть от Лоры, как люди бросают курить. Кроме нескольких срывов – в духе *пусть он позвонит мне*, только наоборот, – все протекало гладко, они уже две недели не разговаривали. Рана подернулась нежной тканью, но сегодня, когда Рафаэль ушел вниз и ему почти удалось договориться с банком – Виктор за несговорчивость прозвал этот банк Мастурбанком, – так вот, когда он собрался было уже заняться с Евгением Львовичем, позвонила Лора, и снова все осложнилось.

Ей нужно с ним повидаться. Интонации цвета хаки. Артистка. И вместо того чтоб сказать, что не хочет он больше *видаться*, ни видаться не хочет, ни разговаривать, он произносит как можно более равнодушно:

– В субботу, в одиннадцать, на нашем месте, у Новодевичьего?

Все равно получается жалко, заискивающе. Заехать за ней? – Что? Нет. – Она из общегития поедет?.. *Ни слова, о друг мой...* Отбой.

Спустя полчаса он вспоминает про учителя, неловко вышло. Потерянное время будет Евгению Львовичу возмещено. Зовут Кирпича наверх.

– Не обиделся?

– Чего ему обижаться? Евгений Львович вас уважает.

Откуда Кирпич это взял? Сам он теперь ни в ком не уверен.

– Знаете, как они называют вас?

– Как? Как они меня называют? – мол, давай, говори и иди.

– Человек эпохи Возрождения. И еще – Патрон.

Ничего, как будто бы, страшного. А все-таки – не добавляет. Они, значит, говорят о нем там, внизу.

Вспоминает лицо Рафаэля, когда тот увидел его рояль. “Не по жопе клизма” – было на этом лице написано, или не знает Рафаэль таких выражений? Знает, все знает, ученый. Энциклопедист.

– Еще что?

– Про музыку я не понимаю, – признается Кирпич, – а Евгений Львович рассказывает интересно.

О чем, о чем он рассказывает? Не умеет Кирпич врать. Ну же, строитель! – Про Николая Второго, про то, что он тоже... – Все ясно. Он тоже. Он тоже – ворон стрелял? Государь-император стрелял не только ворон – и кошек, и петухов. На Кирпича смотреть страшно. А об учителях он был лучшего мнения. Он им платит в конце концов.

Субботнее утро. Выпавший за ночь снежок уже полностью превратился в грязную жижу. В Москве еще поздняя осень. Как небрежно, неряшливо ездят водители! Почему надо заезжать за белую линию, не стоять спокойно у светофора?

Зачем она его позвала? Что-нибудь надо. Арендовать зал. Она невнимательна к деньгам. К деньгам не бывает ровного, спокойного отношения. Расточительность, скупость или, как у нее, слишком подчеркиваемое презрение. Скоро узнаем, зачем звала.

Он приезжает к Новодевичьему монастырю. Одиннадцать. Случая не было, чтоб Лора явилась не то что раньше, а – вовремя. Спускается к пруду, оглядывается.

Монастырская стена испещрена надписями, он и раньше их видел, но не читал. Чего люди просят? Вряд ли чего-нибудь оригинального. Просят некую Софью, Софию, иногда даже запросто, ласково – Софьюшку.

Святая София, помоги мне выздороветь и дай сил пройти эти испытания. Надо бы разузнать, что за Софья. Он, разумеется, не верит в подобную ерунду. Вдруг думает: и это бы можно было попробовать. Нет, конечно же, нет.

Лора опаздывает. Еще несколько надписей в том же роде: дай хорошее зрение, здоровье, счастье по жизни. *Матушка-Софьюшка, помоги купить квартиру подешевле и уже с ремонтом. И чтобы квартира была по всем документам.*

Если бы он был верующим, то выбрал бы протестантизм. В протестантских странах жизнь и устроенней, и гуманней. И безо всяких, насколько он знает, святых.

Кажется, он мешает какой-то женщине. Быстро делает несколько снимков на телефон. Сейчас устроится на скамейке – их с Лорой скамейке – и будет читать.

Помоги найти мне сына Серезу, – пишет женщина. Бедная, жалко. Но тут же – смешное: Пусть мои доходы позволят купить мне машину моей мечты. Ростик. Лора оценит. Когда придет.

Он разглядывает сделанные фотографии. *Помоги Анне вылечить здоровье, а мне вернуть ее к себе навсегда.* Конечно, больная она тебе ни к чему. А ему самому – нужна ли больная Лора? Уже кажется, что нужна. Смотря чем, конечно, больная.

На полчаса, однако, опаздывает. Он ей сейчас позвонит. Ну же, подойди к телефону, ответь!

Святая София, дайте ума и покоя. Вот это свежо. Не то что бесконечные просьбы о детях. Словно дети рождаются от просьб.

Святая София, хочу стать востребованным высокооплачиваемым профессионалом в области дизайна и фотографии. Очень конкретно. А ниже: *Хочу быть счастливой. Помоги мне забыть Влада.* Вот бы так: раз – и Лора забыта, нет Лоры.

Он смотрит на монастырскую стену, к ней продолжают подходить женщины, перебирает страны, в которых был, думает: протестанты, католики, а на последнем месте по уровню жизни, всего – мы. Лора-то, кстати сказать, крещеная, хоть и Шер. Крестик на шее – чуть светлее волос.

Одиннадцать пятьдесят. К телефону – им в свое время подаренному – не подходит, сама не звонит. Ничего не случилось, нет сомнений, она в порядке. Не в порядке – он. Поднимается со скамейки – как же раньше он не заметил, когда садился? – увлекся этой галиматей – к штанине прилип расплющенный грязно-розовый кусок жвачки. Какая мерзость! На нем – чужие слюны, чужая грязь, – не отскребешь! Гадость!

А теперь он залезет в автомобиль – он ждал ее больше часа – и поедет прочь, быстро-быстро.

Когда к нему возвращается способность к обдумыванию – километрах уже в двадцати от Москвы, – он понимает следующее.

Лоре нужна была помощь – арендовать зал, оркестр, творческой личности посодействовать. Он бы дал. Но – передумала. Возможно, где-то еще нашла. И тут вдруг – вспомнил сегодняшних Маш, Оль, Кать – кровь прилила к лицу: что если Лора беременна? Вероятность ничтожная. Зачем же звала? Может быть, захотела, чтоб он ей заделал ребеночка? С творческой личности – что возьмешь? – а тут – и сама, и ребенок обеспечены будут навеки.

Смотрит на ситуацию несколько со стороны: вот до чего довели человека! А у Новодевичьего прямо готов был рыдать. Его уже отпускает.

Мальчики

Зачем он уехал из города, куда направляется? Не разумно ли было бы для загородных поездок обзавестись водителем? Может быть, и разумно – жизнь за пределами Москвы страшна и непредсказуема, – но автомобилем он предпочитает управлять сам. Он отличный водитель. Кроме того, любая обслуга – свидетель той жизни, которую она обслуживает, свидетель, метящий в соучастники, – слишком недолго живем мы в мире современных экономических отношений и учимся медленно.

Он думает о Рафаэле, о Евгении Львовиче. Не зло думает – больше с недоумением. Ничего обидного, кажется, ими не было сказано: ну, про государя-императора, про ворон... А так – *Renaissance man*, он произносит вслух, по-английски, – лестно должно быть, скорей. Но общий тон, чувство их превосходства, откуда? Лично они, эти двое, какие создали ценности, чью жизнь улучшили? Он вдруг понимает, что устал от учителей – от рафаэлевского чванства, от алкогольной грусти Евгения Львовича, от их всезнайства, от вечной, неистребимой их правоты.

А Лора о сегодняшнем свидании просто забыла. И ночует она – скажем так – в гостях, иначе позволила бы заехать, забрать себя. Что-то ей было нужно – известно, что – деньги, а потом обошлась, выкрутилась сама. Позвала его встретиться – и забыла. Ровно так же забудут его после смерти. Рафаэль, вечный живчик, отзовется о нем высокомерно-мило: симпатичный был человек, ищущий, произнесет речь – об искусстве, эпохе, больше всего – о себе. Лора похвалит его непосредственность, вспомнит про вазу с цветами и с тряпочкой, здесь поминки, конечно, смеяться не следует, споет с выражением: *Ни слова, о друг мой...* и сделает изящно, как она умеет, рукой. И Рафаэль, раскачиваясь взад-вперед, Лоре саккомпанирует. Виктор будет стискивать зубы, скорбеть, доставит на отпевание архимандрита или – как он у них называется? – архиепископа, купит место на Новодевичьем, роскошные похоронные принадлежности. Евгений Львович посетует на безвкусицу – тайно, Рафаэль – в открытую. Жалко, не будет Роберта.

Странные мысли приходят в голову за рулем. Лучше не помирать, и с чего бы? – он, пожалуй, еще поживет.

Он едет на дачу, принадлежащую Роберту. С тех пор как того арестовали, жена и дети Роберта подались в Англию, а потом к ним присоединился и сам Роберт, – пришлось потрудиться, договариваясь с венскими классиками, несговорчивыми и жадными, – дача перешла в его ведение, Роберту жалко было ее продавать. Роберт и теперь надеется на возвращение, а пока попросил, чтобы все оставалось по-старому, включая Александру Григорьевну, бабу Сашу, – человека, который следит, как выражается Роберт, чтобы дом был жив, – появляется раз в неделю, по воскресеньям.

Баба Саша эта, опять-таки по словам Роберта, – женщина, близкая к святости, – содержит племянницу – дочь умершей сестры, сильно пьющую, и множество двоюродных внуков. Возможно, не содержала бы – племянница меньше пила бы, работала. Так что неизвестно еще, полезен ли бабы-Сашин подвиг. А ну как внуки – кажется, уже пятеро – вырастут паразитами? Еще она птичек кормит, синичек, специально на какой-то там рынок ездит, где зерно дешевле, такое Роберта всегда трогало. В любом случае, присутствие ее – воля Роберта. Он бы нашел кого-нибудь посвежей.

За городом уже зима, подмосковную зиму он предпочитает прочим временам года – за снег, за поверхности, прячущие под собой все безобразия, нечистоту. Слева – поле, занесенное снегом, а справа и чуть впереди снег частично вымело ветром, обнажилась грязная высохшая растительность. Прибалты такие необработанные поля называют “руси”. Агрегат какой-

то ржавый стоит. Глупости много и свинства. Если честно – страна дураков. Евгений Львович говорит: – И святых. – Не знаю, не знаю, – думает он, – со святостью мы что-то редко соприкасаемся. Если, конечно, не считать бабу Сашу, которая, кстати сказать, матерится и курит, как паровоз. В любом случае, людей, как он, как Роберт, как, при всех его недостатках, Виктор, – людей работающих – сильно недостает.

К даче можно проехать двумя путями – либо коротким, через поселок, где живут местные, в частности баба Саша, и куда лучше не углубляться, – дорога короче, но хуже, – либо длинным путем, вокруг “русей”: лишних несколько километров, зато никаких признаков человеческого присутствия. Ему интересно испытать машину на скользкой разбитой дороге, и он выбирает короткий путь. Машина справляется безукоризненно.

На въезде в поселок – заправка. Возле нее – мальчики, совсем дети. Он выходит из автомобиля, разминает ноги, руки, спину, его уныние почти прошло: солнце, снег, скоро он сядет на снегоход... Да и радость освобождения, выздоровления – он усвоил уже это глупое слово – от “интеллей”, включив в их число и Лору, все-таки ощущается. Чуть-чуть отъехал, а уже другой мир, другие переживания.

Слив бензина, придется десять минут подождать. Световой день короткий, надо поторопиться, но десять минут ничего не изменят в его судьбе.

Да, чувство освобождения – приятная вещь. Как-то в компании Роберт рассказывал о самом счастливом дне своей жизни. Был тогда он молодым кандидатом наук с идеями и мечтал поговорить о них с одним выдающимся математиком. И вот однажды в Пярну, на пляже, видит Роберт того самого математика, в одних трусах. Тот согласен поговорить: “Только надо вам сперва подучиться. Вас подтянет один мой студент, он тут. А за это студент у вас будет обедать”. Роберт на все согласен, студент толковый, они едят, разговаривают, день за днем. Но вот как-то раз доедает студент второе, сует себе зубочистку в рот, и эдак, не вынимая ее: о чем, мол, сегодня поговорим? “И я ему, знаете, что ответил? – Роберт обводит собравшихся большими своими глазами. – Пошел вон! И студент ушел. Это был самый счастливый день в моей жизни”. Не видел больше Роберт ни студента, ни великого математика, а скоро стало не до того – биржа, акции, очень на месте казался Роберт на первых порах со своей математикой, хотя потом выяснилось, что самое надежное – пойти и взять.

– Дядь, вам стекла помыть? – кричит мальчик и, не дожидаясь ответа, размазывает по лобовому стеклу грязь. Другой уже занялся фарами.

Молодцы, думает он, работают. Ему приятно думать о них хорошо. Заливает бензин – не трогайте, тут он сам, дает ребятам мелкие деньги, обходит машину и видит, что сзади стоит еще один мальчик. Немножко старше других, тоже маленький.

– А ты чего не работаешь?

Мальчик, не отрываясь, восхищенно смотрит на заднее стекло. Он следит за его взглядом: масляно-радужные узоры, цветные пятна, оставленные моющей химией, вперемешку с отражением неба, солнца и облаков. Правда, красиво – дифракция, рефракция, интерференция, ах ты, он все забыл.

Мальчик рыжеватый, не такой, как Лора, но он вдруг думает: вот если бы они с Лорой...

– Сколько тебе?

– Одиннадцать.

Мальчика зовут Костей.

– Хочешь прокатимся, Константин?

Еще бы тот не хотел!

Между прочим, единственные надписи, которые его тронули у Новодевичьего, были оставлены детьми. *Хочу хорошо учиться и чтобы меня хвалили.* И еще: *Сделай так, чтоб у моей мамы никогда не было несчастья и неудач.* Как зовут Костину маму? Зря он спросил. Нету у мальчика, видимо, матери.

– Костя, на тебя вороны не нападали? – у обочины собралось множество птиц. Эх, ружьишко бы!

– Нет, – отвечает Костя. – Они у соседей зерно поклевали и цыплят обижают.

Что и требовалось доказать.

Соседям пришлось завести себе пугало. Костя изображает пугало. Приехали, жаль.

Вдоль улицы люди. Хмурые. В Москве, впрочем, тоже. В Москве все друг другу мешают, а тут-то что? Экономика. Был он и в итальянских деревнях, и в Голландии – разве сравнишь? Трудно быть патриотом, Евгений Львович, практически невозможно.

Почему-то он заходит за мальчиком в дом. Дом бедный, одноэтажный, не дом – пол-дома. В нос ударяет страшная смесь тухлятины, перегара, мочи. В полутьме на кровати сидит укрытый рваниной мужчина – отец? Голые ступни чудовищной толщины, искореженные ногти, лицо небритое, одутловатое. Он думает: лет через десять таким будет Евгений Львович, если не перестанет пить.

Мужчина, хрипло:

– Кто, Костя, врач?

Нет, не врач. Если нужен врач... Он сейчас позвонит. Скорее на воздух! Мужчину заберут, отвезут-привезут, сделают все, что в силах. Довольно много времени уходит на переговоры. Почему он вообще этим занят? Потому что у него есть деньги. Не только деньги – ответственность. Если ты обеспечен, то сотням, тысячам вокруг тебя становится лучше жить.

Как справится мальчик один, когда увезут *этого*? А как он *с этим* справляется? Чем питается Костя, кто стирает, кто гладит ему? Возвращается в дом: будет врач. А они покатаются на снегоходе. Когда-то Косте еще доведется... Мужчина делает неопределенный жест.

Пустой дом Роберта, помнящий лучшие времена. Но ничего, благодаря бабе Саше не грязно. Завтра, кстати, ее день.

Они ходят по дому: видишь, Костя, такой вот дом. Дом его друга. Вот фотография, черно-белая, с бородой и в очках, здесь Роберт похож на Фрейда, но в свитере. Досмотрим потом, идем.

– Снег вовсе не мягкий, – объясняет он мальчику. – Попробуй, потрогай.

Костя с умным лицом садится на корточки, трогает снег, словно впервые.

– Об снег можно расшибиться не хуже, чем об асфальт. Имей в виду: опрокидывание на снегоходе особенное. Не то что на мотоцикле. Мотоцикл падает внутрь поворота...

Костя, он видит, хочет понять.

– Смотри, – чертит ботинком линии на снегу. – Снегоход, теряя устойчивость, падает вслед за тобой. Ты падаешь, снегоход кувыркается – и на тебя. Особенно на горе. Ладно, пошли.

Вспоминает свои одиннадцать лет. Странно, что мальчики доживают до взрослого состояния. Большинство.

– Костя, запомни главное: при опасности – прыгай.

Приятно, что Костя слушает. Иначе, чем Лора: не тембр, не интонации слушает, а слова.

– В прошлом году двое дачников провалились под лед, – говорит Костя и делает огромные глаза. – Утопли.

Но, видно, нисколько Косте не страшно. Он ложится на снег, раскидывает руки в стороны, поводит ими вверх-вниз. Встает, показывает отпечаток: похоже на ангела?

– Чрезвычайно. Едем?

Он сажает Костю вперед, придерживает руль, но и Костя руль держит крепко! Ужас, какая нищенская у мальчика шапочка. Под ней полоска волос и тощая-тощая шейка. Как бы он хотел сейчас видеть его лицо! Выставляет зеркало так, чтобы видеть.

– Правь сам. Вот тормоз, вот газ.

Костя сосредоточен. И вроде бы счастлив. Из-за какой мелочи могут быть счастливы дети!

До речки доехали – не речка, так, ручеек, – как ухитрились тут дачники потонуть? – повернули налево, вдоль поля. Возвратились при свете фары. Изумительная вышла прогулка.

Костины вещи – сушить. Какую-то одежду нашли – все огромное, взрослое. Рукава, как у смирительной рубашки, болтаются.

– Давай засучу, помогу. Костя, ты любишь пиццу?

Глупый вопрос, Костя все любит. Все и всех. Найдем телефон, закажем. По экрану ползет полоска – подожди, надо дать компьютеру загрузиться. Пока что звонит Кирпичу: одежду для мальчика – полный комплект, от носков до шапки. Купит, доставит, и все – свободен.

– Сегодня не выйдет, – Кирпич пыхтит. – Простите, никак.

Завтра утром, Кирпич постарается. Да уж, пусть.

Мальчик лежит на перилах и медленно-медленно съезжает со второго этажа на первый.

– Ты что делаешь, Костя? – дом-то чужой.

– Я загружаюсь, – отвечает мальчик. Загружается, как компьютер.

Потрясающе, думает он, талантливо. Просто феноменально. Если дать Косте образование...

Доставка еды. Толстая белая баба на маленьком автомобильчике. Пицца, мясо в горшочках, суп.

– Кушайте, мальчики.

Порадовало это “мальчики”.

Костя ест аккуратно, старается.

– Смотри, кирпич весит полкилограмма плюс полкирпича...

С этим классом задач мальчик, по-видимому, не знаком.

– Кирпичи – они разные...

– Нет, здесь один и тот же кирпич. Две половинки: одна – полкилограмма, другая, следовательно, тоже. А вместе получается – килограмм. Ты понял?

Вроде бы, да. Тут же Костя произносит что-то милое и настолько некстати, что ясно – не понял. Запущенность. Надо наверстывать.

Задачу про кирпич он перенял у Роберта, тот задавал ее всем, кто устраивался к ним работать. Отвечавших неправильно, а их было много и с годами становилось все больше, Роберт называл инопланетянами. Их не брали.

Что дальше делать? – размышляет он, ставя тарелки в посудомоечную машину. Через пять минут и вообще. И каков, так сказать, статус их отношений с Костей? Просто так отвезти мальчика в пустой уже дом невозможно. Кто они с ним друг другу?

Ближайшие планы определяются сами собой. Когда он возвращается в гостиную, Костя спит. Он переносит мальчика на кровать, укрывает его, даже позволяет себе чувствительный жест – гладит Костю по голове, у ребят удивительно крепкий сон. Как хорош Костя! Благородство и простота. Юный джентльмен.

За окнами полная уже темень. Сейчас он снова позвонит Лоре, а лучше – напишет ей: “Я нашел нам чудного рыжего мальчика, юного джентльмена”. Или подумать еще, подождать?

Он звонит Виктору. Тот извиняется: связь плохая. Они с Олегом Хрисанфовичем охотятся на кабанов. Вечером поговорим. – Уже вроде вечер. С кем Виктор охотится? Он не слышал. – С губернатором, губернатором. – Ладно, с губернатором – это важно.

Сам он в губернаторских охотах с недавних пор не участвует. Может быть, Виктор прав – его неучастие вредно для дела, может быть. Но, во-первых, опротивело их вытье: перед началом охоты – молебен хором. И на него смотрят: чего лоб не крестишь? И потом – он всегда был против глумления над убиваемыми животными. В последний раз они долго гонялись с Виктором за лисой, та устала и уже не могла бежать. Виктор схватил ее за хвост смеха ради, и лиса

укусила Виктора в руку, пришлось уколы делать от бешенства. Он помнит, как посмотрела на них лиса. Не очень-то ему было жалко Виктора. Подумал: пора им, наверное, расставаться.

Мальчик все спит. Он перезванивает Виктору совсем ночью.

– Ну, – спрашивает, – как поживает любимец богов и губера? – И рассказывает о том, что надо сделать. Быстро. Лишить алкаша одного родительских прав. Первым этапом. Старается говорить как о бытовом пустяке. Перед Виктором нельзя заискивать, тот очень чувствует его слабости.

– А давай грохнем твоего алкаша, – вдруг предлагает Виктор. – Дешевле, и польза обществу.

Пьяный он, Виктор, что ли?

– Ладно, шучу. Алкаш – первым этапом, а что вторым?

А вторым этапом, вздыхает, он хочет усыновить ребенка. Он и одна его приятельница. Про нее пока еще не окончательно решено, будем считать, что насчет приятельницы – предварительный разговор.

А насчет него, спрашивает Виктор, разговор окончательный?

– Да, – он опять вздыхает. – Да, окончательный.

– Имя ребенка? Возраст?

Он говорит.

– Отличная идея! – восклицает Виктор. – Я делаю всю черновую работу. – Не так сказал – черную. – А теперь Костик, Костян...

Неплохо бы все обсудить, полагает Виктор. Все аспекты. Конечно, каждый решает сам в том, что касается личной жизни, но необходимо учитывать интересы партнеров, в данном случае – Виктора. Они ведь – большая семья, не так ли? Как ему кажется? Костик уже не маленький, может считаться участником дела. Потенциально. Так он должен рассматриваться. Если что. Не будем о плохом, но помнит ли он, – если нет, то Виктор готов напомнить, – сколько проблем было с семейством Роберта?

Похоже, Виктор не пьяный.

– Ты, конечно, патрон, все дела...

Надо подумать. Не оформить ли – как это называется? – опекунство? – Виктор изучит законодательство. Опекунство – уже теплей. Но тоже не отыграешь, не возьмешь назад. А что если – такое предложение, – дать Костику бабок? – Он с ума сошел, этот Виктор? Мальчик маленький, одиннадцать лет, как он ими распорядится?

– Легко, – отвечает Виктор. – Я в одиннадцать отлично знал, что с бабками делать. У меня уже сумма приличная скопилась по тем деньгам. Я себе, если хочешь знать, в тринадцать лет купил женщину.

Утро. Дом уже на ногах. Костя оделся в свою одежду, снова лежит на перилах. М-да. Шутка, повторенная два раза... Перила крепкие, выдержат.

В комнате, где спал мальчик, орудует баба Саша. Выволокла матрас на снег, груда белья на полу.

– Александра Григорьевна, здравствуйте. Что случилось?

– Малый просал все, у меня вон Галка, старшая, – бормочет баба Саша, – мужа себе нашла, в первую ночь обоссался, как же ты, говорю, жить будешь с таким зассанцем?..

Тише, тише, услышит. Это ж непроизвольно, ребенок не виноват. И он просит ее не курить хотя бы в жилых помещениях.

Бардак. Так хорошо вчера было... Пока юный джентльмен не надул в постель. По волосам его треплет.

– Ладно, бывает. Голову давно мыл?

Теперь ему хочется что-нибудь сделать для одного себя. Всё, его нет, он отправляется в душ.

Если бы он курил, скажем, трубку, то, возможно, и не было бы потребности в ежедневном стоянии под душем по полчаса. А так – давно надо выключить воду, вытереться, одеться и с Костей поговорить – намерения определились, – но он моется все и моется. И мысли разные в голове, которые надо гнать. Решено уже – опекунство, вполне себе компромисс.

– Малый уехал на драндулете... – узнает он от бабы Саши.

Без спросу. Взял снегоход и отбыл. Вот так сюрприз.

– С легким паром!

Спасибо, спасибо, Александра Григорьевна... Уехал на снегоходе, что за идиотизм!

Пора бы уже Кирпичу объявиться. Он подождет еще час-полтора и пойдет искать мальчика.

Много свежего снега. Это не вчерашний их след? Вроде сегодняшней. На снегоходе до речки они ехали минут десять, а пешком идти – далеко. След обрывается. Вспоминает про утонувших дачников. Идет вдоль речки налево – нет, тут Костя не мог переправиться. Звонки: на дачу – не вернулся ли мальчик, Кирпичу – едет Кирпич, скоро будет, как скверно все! Обувь неподходящая. Снег противный, хоть и не очень глубокий, и не холодно – скорее жарко, он взмок.

– Там мосток есть, – говорит баба Саша, в смысле – мост.

Видимо, у речки надо было повернуть направо. Нашел мостик. Металлические канаты, на которых тот висит, подернуты ржавчиной, деревянный настил местами гнилой. Костя, наверное, тут и переправлялся. Знать бы – машину взял – и в поселок, ждал бы мальчика прямо там. Ладно, что теперь говорить?

Часа четыре ходил, пока не добрел до поселка. Вот и кончается день, уже сумерки.

Костина улица, снегоход, дом. Мальчик лежит на кровати, лицом к стене. Записка, большими буквами: Меня увезли в больницу. Мы увидимся еще, сын. Он встречается взглядом с мальчиком. Не думал он, чтобы тот умел так смотреть. Не надо, не надо, Костя. Вспомнил лису – губернаторскую. Хотя при чем тут Костя? В данном случае пострадавшая сторона – он.

Вонючего дядьку эвакуировали, но запашок остался. Следовало оповещать мальчика о перемещениях папаши. Ошибка, его ошибка.

Ему мучительно хочется вдруг домой, в Москву – в царство если не разума, то по крайней мере здравого смысла. А что помощник его? Доехал, чай пьет с Александрой Григорьевной.

– Почему так поздно, можно поинтересоваться?

– Семейные обстоятельства. Пока машину нашел... – Через телефон чувствуется, как Кирпич потеет, это произносятся.

Надо присмотреть себе помощника поэффективней, без обстоятельств.

Так, пусть Кирпич садится в его машину и потихоньку едет в поселок, он называет адрес. – Кирпич не может водить. – Как же права категории “В”? Солгал, когда на работу брали? – Права есть, давно не водил.

Пусть Кирпич придумает, как вызволить его из поселка, он устал придумывать. Всё, с понедельника он ищет себе нового человека.

Наконец, они соединяются: он, машина, Кирпич, пакеты с вещами. Кладут вещи в темной передней. Одежда, обувь, немножко денег. А снегоход? Оставлять снегоход – почти так же рискованно, как дать, по совету Виктора, бабок. Снегоход привязан к крыльцу какой-то собачьей цепью. Ладно: совесть есть – сам вернет. Бросить все – и домой.

Они едут назад, в Москву, возвращаются в позднюю осень.

– Снимайте шапку, пальто, Анатолий Михайлович, в машине тепло, вот салфетки, возьмите, вытрите.

Что там Кирпич бормочет? У него тоже сын. В каком смысле – *тоже*? Пусть Кирпич думает что угодно, плевать.

– Двенадцать лет мальчику, не разговаривает. – Черт, что такое? – К профессорам ходили, к целителям, к экстрасенсам.

Слушать это – выше человеческих сил. Думает: твою мать! Я и тебе, что ли, должен сочувствовать?! – терпит однако. Совсем поздно уже он отвозит Кирпича в его Бутово: бросьте, на чем вы доедете? Уже ночь.

Пробует читать перед сном: *Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова*. Зачем это все? Зачем?

Черный понедельник

Он стоит у окна и стреляет ворон. Стреляет метко: вороны разлетаются в пух. Для каждой дичи требуются свое оружие и боеприпасы, его сегодняшний выбор соответствует целям стрельбы. Мало того, что в Москве негде шагу ступить от машин и людей, так еще и повсюду кишат эти страшно живучие твари.

Сейчас явится ничего не подозревающий Рафаэль. Надо откликнуться на сообщение от Виктора: им снова предстоит разговаривать с банком. Сегодня должно получиться, считает Виктор. И в агентство звонить, искать Кирпичу замену.

С учителями можно было расстаться по телефону, но он предпочитает прощаться с людьми по-хорошему. Два конверта – для Рафаэля и для историка – гонорары за десять невзятых уроков. Каждому. Очень щедро.

Он редко подглядывает за тем, что творится в конторе, но сегодня им движет естественный человеческий интерес. Включает камеру. Любопытно, с каким лицом энциклопедист примет деньги. Явился. Вот Кирпич объявляет решение начальника, протягивает конверт. Надо же, не берет! Не берет-то он не берет, но глядит на конверт с интересом – знал бы, сколько там, взял бы. Ясно, гордый. Понты дороже денег, говорит в этих случаях Виктор. Теперь станет хвастаться. Всем подряд. Черт.

Остается надеяться, что Евгений Львович свои отступные возьмет. Подождем до трех. Рафаэль отвалил, можно выключить камеру. Стоп, минутку. Чем это занят Кирпич? Перекладывает деньги из двух конвертов в один. Добрым быть хочет, за чужой счет. Поздно перевоспитывать.

Пока он следит за тем, что творится внизу, на соседнюю крышу садятся еще вороны. Сейчас он ими займется. Новая коробка с патронами. Раз-два-три, ворон больше нет. Он переводит взгляд на консерваторию.

Рыжие волосы, знакомое пальто. Лора? Вскидывает винтовку, смотрит в прицел. Да, Лора. Лора с брюнеткой. Ворона-брюнетка, брюнетка-черт. Вот кому он с удовольствием разнес бы голову. Опасные мысли, когда в руках у тебя оружие. Ничего, ничего, он себя контролирует.

Бинокль был бы уместней и безопаснее, но бинокль находится в спальне, – Лора уйдет. Телефон зато под рукой. Ну же! Лора достает из сумочки свой телефон, она отлично с ним управляется. Смотрит – грустно, как ему кажется, – головой качает. Все, назад убрала. Поворачивается к брюнетке. Та смеется. Он снова переводит прицел с брюнетки на Лору. Просто нет сил. Лора ушла, пронесло. И его, и Лору.

Положи наконец винтовку. Нет, он не в силах прервать наблюдение за жизнью – праздничной, праздной, паразитической. Все они – консерваторская братия, мальчишки Костики, их папаши, народец, пачкающий стены монастырей, – паразитируют на людях, делом занятых.

А праздник внизу продолжается. На месте брюнетки – девочка толще нее, моложе, и ниже, и тоже черненькая. Брюнетка-штрих. И парень – лохматый, как Рафаэль. Виолончельный футляр свой поставил на тротуар. Руками размахивает, веселое что-то, видно, рассказывает, девочка сгибается от хохота пополам, потом распрямляется, толкает виолончелиста в грудь. Чему они все так радуются? Неужто смешно? Тусуются детки. Всем подавай веселья. Веселья и левых денег. Хоть на виолончели играй, хоть на рояле, хоть пой.

Пора перестать подглядывать за этой бессмысленной жизнью и позвонить туда, где ждут его, – в банк, но происходит ужасная вещь. Из рта у брюнетки лезет пузырь, бледно-розовый. Парень-виолончелист пробует попасть по нему рукой, девушка уворачивается. А пузырь – растет и растет. Что здесь смешного? – гадость, жвачка, как та, что прилипла к штанам его

позавчера. Скоро пузырь займет уже, кажется, весь прицел. Ну же, лопни! И, не желая никому причинить вреда, он нажимает на спусковой крючок.

Здесь далеко от места событий, и ему совершенно не слышно, что происходит – там. Вместо того, чтоб отпрянуть – мало ли, что у стрелка на уме, – недоумки сбились все в одну кучу, сгрудились над жертвой, заслонили ее собой, так что не видно, жива она или нет, размахивают руками, выбегают на проезжую часть, указывают в направлении его переулка. Бараны, стадо.

Постепенно реальность доходит до его сознания. Винтовка не стояла на предохранителе. И в патроннике был патрон. Какая клавиша отменяет последнее действие? Нет такой, отмены не предусмотрено. Скоро за ним придут.

Дорога перегорожена милиционерами. Пропустите же “скорую”! Кажется, вся консерватория повывезла на улицу. Что проку в толпе? Расступитесь, разойдитесь, разгоните машины. Как топорно все делается!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.